# 1985

**Автор:**
Энтони Бёрджесс

1985

Энтони Бёрджесс

Эксклюзивная классика (АСТ)

«1984» Джорджа Оруэлла – одна из величайших антиутопий в истории мировой литературы. Именно она вдохновила Энтони Бёрджесса на создание яркой, полемичной и смелой книги «1985». В ее первой – публицистической – части Бёрджесс анализирует роман Оруэлла, прибегая, для большей полноты и многогранности анализа, к самым разным литературным приемам – от «воображаемого интервью» до язвительной пародии. Во второй части, написанной в 1978 году, писатель предлагает собственное видение недалекого будущего. Он описывает государство, где пожарные ведут забастовки, пока город охвачен огнем, где уличные банды в совершенстве знают латынь, но грабят и убивают невинных, где люди становятся заложниками технологий, превращая свою жизнь в пытку…

Энтони Бёрджесс

1985

Лиане

2 + 2 = 5

Плакат, появившийся в Москве в годы первой пятилетки, подразумевающий, что дело может быть сделано за четыре года, если рабочие подналягут.

Anthony Burgess

1985

Печатается с разрешения International Anthony Burgess Foundation при содействии литературных агентств David Higham Associates Limited и The Van Lear Agency LLC.

© International Anthony Burgess Foundation, 1978

© Перевод. А. Комаринец, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

## Часть первая

## 1984

### Вопрос-ответ

Когда начался кошмар двадцатого столетия?

В 1945 году, когда многим казалось, что он закончился.

Как он начался?

С первого применения атомной бомбы, разработанной ввиду необходимости скорейшего завершения слишком уж затянувшейся войны. Но с окончанием

конфликта между фашистскими государствами и свободным миром (который не был таким уж свободным, поскольку значительная его часть находилась под властью тоталитаризма) были расчищены подмостки для разворачивающегося глубинного противостояния века. Коммунистические державы противостояли державам капиталистическим, и обе стороны имели неограниченный арсенал ядерного оружия.

Ну и что?..

А то, что оружие, которое было применено для окончания одной войны, теперь использовалось для развязывания другой.

Каким был исход мировой ядерной войны 1950-х годов?

Несметное число атомных бомб было сброшено на промышленные центры Западной Европы, обеих Америк и Советской империи. Разрушения были столь ужасающими, что мировые правящие элиты начали понимать, что, уничтожив организованное общество, атомная война подорвала их собственную способность удерживать власть.

И что с того?

А то, что с общего согласия атомной эпохе был положен конец. Отныне войны могли вестись традиционными видами вооружений, разработанных во время Второй мировой войны. Что войны и дальше будут вестись, причем в глобальном масштабе, принималось как само собой разумеющееся.

Какова была расстановка сил на момент окончания мировой ядерной войны?

В результате этой войны мир разделился на три крупных блока держав, или сверхгосударства. Отдельные страны перестали существовать. Океанией назвали конгломерат, в состав которого вошли Соединенные Штаты, Латинская Америка и бывшее Британское Содружество. Управление им, предположительно, но не точно, осуществляется из Северной Америки, хотя идеология, объединившая территории этого сверхгосударства, была разработана английскими интеллектуалами и стала известна как английский социализм, или ангсоц. Старая географическая номенклатура утратила какое-либо значение, более того, приверженность отдельным национальным или культурным

особенностям стала считаться вредной для новой ортодоксии.

Что, например, случилось с Великобританией?

Великобритания была переименована во Взлетную полосу I – нейтральное обозначение, лишенное каких-либо пренебрежительных оттенков.

Прочие сверхгосударства?

Двумя другими сверхгосударствами стали Евразия и Остазия. Евразия сформировалась путем поглощения всей континентальной Европы Советским Союзом. Остазия состояла из Китая, Японии и юго-восточной части Азиатского континента, также в нее входили некоторые области Маньчжурии, Монголии и Тибета, которые, будучи территориями, граничащими с Евразией, меняли навязанную им принадлежность в соответствии с ходом войны.

Войны?

Война между сверхгосударствами началась в 1959 году и продолжается до сих пор.

Иными словами, война обычным оружием?

Верно. Ограниченное вооружение и профессиональные войска. По меркам первых войн современности армии сравнительно невелики. Воюющие стороны не способны уничтожить друг друга: если бы они смогли, война бы закончилась, а война не должна заканчиваться.

Почему она не должна заканчиваться?

Война – это мир, то есть война – это образ жизни современности, как мир был образом жизни предыдущих эпох. Война как образ жизни и аспект политической философии.

Но ради чего ведется война?

Позвольте для начала сказать, что война ведется не ради чего-то. Нет никаких материальных причин для военных действий. Нет никакой несовместимости идеологий. Океания, Евразия и Остазия все как одна принимают общий принцип единственной правящей партии и тотального подавления личной свободы. Война не имеет никакого отношения к столкновению мировоззрений или, точнее, к территориальной экспансии.

Но в чем ее суть?

Объявленная цель войны – овладение приблизительно трапециевидной территорией, углами которой выступают Гонконг, Танжер, Браззавиль в Конго и Дарвин в Австралии. Тут располагается неисчерпаемый источник дешевой рабочей силы: тысячи миллионов мужчин и женщин, приученных к тяжкому труду и оплате на грани выживания. Соперничество за овладением этим трофеем разворачивается в Экваториальной Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Индии и на Малайском архипелаге и не выходит за пределы оспариваемой территории. Также ведутся некоторые боевые действия у Северного полюса, где, как предполагается, расположены залежи ценных минералов.

Это объявленная цель. А истинная?

В полной мере загрузить промышленность, одновременно поддерживая работу всех ее механизмов и низкий уровень жизни. Ибо сытый, физически довольный гражданин, имеющий широкий спектр товаров для потребления и деньги для их приобретения, – плохой подданный для любого олигархического государства. Тому, у кого желудок набит мясом, нет дела до голых костей политической доктрины. С наибольшей готовностью фанатичную приверженность правящей партии проявляют малоимущие. Более того, лояльность и то, что некогда называли патриотизмом, гораздо легче поддерживать, когда враг будто бы у ворот.

Какой враг?

Хороший вопрос. Я говорил про бесконечную войну, но, строго говоря, это не всегда одна и та же война. Океания выступает в альянсе то с Евразией против Остазии, то с Остазией против Евразии. Иногда она оказывается одна против союза этих двух. Смена союзника происходит очень быстро и требует

соответственно стремительного переосмысления политики. Но существенно важно, чтобы война официально представала той же самой войной, и, как следствие, враг всегда должен быть один и тот же. В каждый данный момент времени враг должен быть извечным врагом, врагом в прошлом и будущем.

Невозможно.

Невозможно? Правящая партия осуществляет тотальный контроль над коллективной памятью и за счет изменения или, точнее говоря, исправления архивов без труда может подверстать прошлое под настоящее. Что истина сейчас, должно быть истиной всегда. Истина – это реальность момента, а момент – это здесь и сейчас. Есть другая причина, требующая вечной войны, но ее рассмотрение лучше отложить.

До…

Пока вы не поймете как следует истинное назначение ангсоца.

Опишите общество Океании.

Стратификация в нем очень проста. Восемьдесят пять процентов населения – пролетарии, или, как они официально называются, пролы. Пролы достойны презрения, поскольку необразованы, аполитичны, то есть представляют собой недовольную, но инертную массу. Они выполняют самые низменные задачи и функции и довольствуются самыми животными удовольствиями. Остальные пятнадцать процентов составляют партии – внешняя и внутренняя. Внутренняя партия – избираемая аристократия, посвятившая себя внедрению в жизнь метафизики ангсоца. Внешняя партия состоит из функционеров, своего рода низших государственных служащих, которые заняты в четырех основных ветвях власти: Министерстве любви, Министерстве изобилия, Министерстве правды и Министерстве мира.

Мира?

На самом деле войны. Но война – это мир.

Кто возглавляет партию?

Некто, называемый Старший Брат, но некто, никогда не рождавшийся и неспособный умереть. Старший Брат – бог. Ему должно повиноваться, но также его должно любить.

Это возможно?

Это существенно необходимо.

Но можно ли заставить любить по приказу?

На то есть способы и средства. Устранение любви в браке, любви между родителями и детьми, уничтожение радости от секса и зачатия потомства помогают перенаправить на должный объект то, что называется эмоциональной потребностью. Существование предателя Эммануэля Голдстейна, который всегда заодно с врагом, который ненавидит Старшего Брата и желает уничтожить Океанию, гарантирует вечное преумножение страха и ненависти среди населения, с которыми также сопряжена компенсаторная преданность тому единственному, кто способен защитить и спасти.

Что такое метафизика ангсоца?

Высшая реальность, которая как первопричина, или первопричины, не имеет бытия вне разума, ее наблюдающего. Идеи, равно как и сведения, поступающие от органов чувств, не более чем субъективные фантомы. Речь, однако, идет не об индивидуальном разуме, а о коллективном. Разум Старшего Брата вмещает все прочие разумы. Его видение реальности – единственно истинное, все остальные – ложны, еретичны и опасны для государства. Индивид должен научиться, не сомневаясь, даже не задумываясь, принимать точку зрения партии, используя технику, известную как двоемыслие, чтобы примирить то, что кажется противоречивым. Внешнего конформизма недостаточно. Это должна быть полная и искренняя преданность. Если память отдельного индивида вступает в конфликт с историей партии, необходимо задействовать устройство моментального контроля памяти. Любое противоречие можно и должно устранить. Двоемыслие – целиком и полностью инстинктивное, искреннее и безусловное – существенно важный инструмент ортодоксии.

В чем – помимо метафизического идеализма и совершенствования его распространения посредством партии – истинная цель ангсоца?

Если вы ждете демагогического лицемерия, то напрасно. Цель правления – не благосостояние управляемых. Правление существует ради власти. Партия желает тотального контроля надо всем за рамками себя самой, переваривая и усваивая всю внешнюю реальность, но она намеренно не стремится ассимилировать врага. Война с Остазией или Евразией не закончится никогда, вероломный Голдстейн никогда не умрет, потому что ангсоцу необходимы враги, как щелкунчику нужны орехи. В полной мере власть можно осуществлять только над врагом. Образ будущего – сапог, топчущий лицо человека, – вечен. Со временем удовольствию власти будут подчинены все прочие удовольствия: пища, искусство, природа и превыше всего секс.

Неужели никто не может восстать против этого чудовищного попрания человеческой свободы?

Никто. За исключением, разумеется, возникающих время от времени безумцев. Своей любящей заботой Старший Брат возвращает таких отщепенцев к душевному здоровью. А после распыляет как изъян в общей картине, дабы обратить в нечеловека. Бунт – феномен прошлых эпох. Да и что такое эта ваша человеческая свобода? Свобода от чего? Свобода делать что? Человек может быть свободен от болезни, как пес от блох, но абсолютная свобода – свобода в вакууме. Лозунги былых революций всегда были чушью. Свобода. Равенство. Братство. Поиски счастья. Добродетель. Знание. Власть – иное дело. Власть – это понятно. Бог – это власть. Власть – это навсегда.

## Цели

Немало найдется таких, кто, не читав роман Оруэлла «1984», тем не менее знает выражения вроде «двоемыслие», «новояз» и «Старший Брат», но главное, код «1984» ассоциируется у них с ситуацией, в которой индивид утратил всяческое право нравственного выбора (а это и означает свободу) и подчинен произволу власти того или иного правящего аппарата – не обязательно государственного. То, что реальный 1984 год может наступить и завершиться, а описанный в романе кошмар не реализуется, то, что на деле 1984 год, возможно, принесет с собой расширение личных свобод и упадок корпоративной власти, не обязательно лишит действенности код Оруэлла и его страшные ассоциации. Двоемыслие, которое только стимулируется художественной литературой,

позволяет нам разрешить самые вопиющие несоответствия. В фильме, снятом Стэнли Крамером по роману Невила Шюта «На берегу», конец света наступает в 1964 году. Смотря его по телевизору в рубрике «Старое кино», мы и в семидесятые годы все еще содрогаемся над тем, что случится в вымышленных шестидесятых. Даже в идиллическом 1984 году 1984 год из кошмарного видения Оруэлла по-прежнему будет служить символом худших страхов человечества.

Выражение «1984 год» используется как несколько невнятная метафора социальной тирании, и об этой невнятности можно только пожалеть. Студенты американских колледжей говорили: «Совсем как 1984 год, старик», когда их просили не курить марихуану в аудитории или мягко советовали немного почитать чего-нибудь по теме курса обучения. В расширительном смысле термин «оруэлловский» стали применять ко всему – от компьютерных распечаток до целесообразно низкой температуры в новом аэропорту. Во Взлетной полосе I нет компьютеров, и большинство упомянутых зданий – ветшающие викторианские дома. Нынешний Ленинград, фасады которого нуждаются в небольшой покраске, а склады живописно гниют, больше похож на Лондон Старшего Брата, чем, скажем, Международный аэропорт Далласа. Ведь оруэлловский означает уэллсовский, а точнее, декорации к фильму «Облик грядущего» 1936 года. Суть урбанистического ландшафта в «1984» в том, что не важно, как он выглядит, поскольку реальность существует в сознании человека. И ничего нет «оруэлловского» в конкретных лишениях, как, например, в запрете на совокупления в трамваях. Оруэлл проецирует в будущее тотальное и абсолютное запланированное, философски обоснованное подчинение личного коллективному, и хотя повествование перенесено в 1984 год, оно может происходить в любой момент с сего дня по 1964-й, когда должен был наступить конец света – по Невилу Шюту.

Перед нами следующие задачи. Понять источники «кошмарного сна наяву» Оруэлла, которые следует искать как в личности самого Оруэлла и в фазе истории, его сформировавшей. Понять, в чем он ошибался, а в чем скорее всего был прав. Сконструировать альтернативную картину будущего, взяв за основу его собственный метод экстраполирования тенденций, существующих в наших семидесятых годах, и показав плоды этого развития в реальном 1984-м или (чтобы избежать плагиата) в 1985 году. История Оруэлла перенесена в Англию, там же будет разворачиваться и моя. Прежде чем осуждать интровертный шовинизм, американцам следует задуматься о том, что Великобритания с обычной для нее рассеянностью, которая принесла ей империю, проложила блистательный путь масштабных социальных перемен. Перемен к худшему, равно как и к лучшему.

Французы умнее англичан! Они поднаторели в интеллектуальном труде записывать новые конституции на бумаге, но формы нового общественного уклада неизменно складываются прежде в Англии. «О духе закона» Монтескье, оказавший столь большое влияние на американскую конституцию, не мог бы быть написан, не существуй в Британии социального договора, суть которого Монтескье не вполне понимал. Британцы тоже не слишком хорошо понимают собственную политическую систему, но и не претендуют на большой ум. Это Уолтер Беджгот назвал британцев глупцами. Им не хватает коллективного интеллекта, которым так гордятся французы, но нельзя сказать, что они заметно страдают от этого изъяна. Французский интеллектуализм, возможно, имеет какое-то отношение к поражению Франции в 1940 году, зато британская глупость побуждала к сопротивлению нацистской Германии. Из глупости, которую можно прославлять как интуицию, родились революция XVII столетия, уложение 1688 года, включавшее ограничения, налагаемые на исполнительную власть и Билль о правах. Вполне вероятно, что из неразберихи и хаоса современной Великобритании возникает прообраз будущего Запада. Этот прообраз многие из нас в силу разных причин осуждают, но сломить его, возможно, окажется под силу только ангсоцу и Старшему Брату.

## 1948: Интервью со стариком

Книга Оруэлла по сути своей комична.

Что?

Сами посудите. У меня на полках беспорядок. Решив перечитать «1984», я поначалу нашел только итальянское издание. На первых порах оно бы сошло. Но что-то не так оказалось с первой же фразой: «Era una bella e fredda mattina d’aprile e gli orologi batterono l’una», то есть: «Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили час». А ведь должно было бы стоять «battevano tredici colpi» – «пробили тринадцать». Переводчик не смог поверить, что часы способны пробить тринадцать – даже в 1984 году, поскольку слух разумного человека не способен воспринять больше двенадцати ударов. Поэтому итальянские читатели вынужденно упускали сигнал комичного. Вот что в оригинале: «Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать»[1 - Здесь и далее цитаты из «1984» Джорджа Оруэлла даны в переводе В. Голышева.]. Рассмеешься или

улыбнешься.

Или тебя передернет?

Или тебя передернет, но от удовольствия. Как в начале самой лучшей страшилки про огров – такой, где в знакомый мир насильственно внедрены странные, ужасные и невероятные вещи. В мир английской апрельской погоды для начала. Желчный ветер потешается над солнцем. Завихрения зернистой пыли на перекрестках. Ветшающий город под конец долгой войны. Проседают многоквартирные дома, запах вареной капусты и старых половиков в коридорах.

Господи ты боже, это КОМИЧНО?

Комично в духе старых мюзик-холлов. Комичность слишком уж узнаваемого. Нужно вспомнить, как жилось в 1948 году, чтобы в полной мере оценить «1984». В 1949-м – в этом году вышла книга – мне кто-то сказал, что Оруэлл хотел назвать ее «1948». Но ему не дали.

Вы помните первые рецензии?

Да, по большей части они были тепловато-похвальные. Только Бертран Рассел распознал, какая это редкость, философский роман. Остальные писали, дескать, вареная капуста и тряпичные половики даются мистеру Оруэллу убедительнее тоталитаризма. Отчасти это верно: Оруэлл был известен как своего рода комический поэт захудалого и убогого. «Фунты лиха в Париже и Лондоне» и «Дорога на причал Уиган» – это же отличные скетчи для кабаре. Оруэллу всегда хорошо давались кухни рабочего класса, отменные чашки чаю, такого крепкого, что уже цвета красного дерева, сенсационные убийства в «Международных новостях», рыба с картошкой, засорившиеся трубы. Он прекрасно уловил атмосферу 1948-го. Серость будней, усталость и лишения. В них ничего не было трагичного. В то время весь трагизм приберегался для нацистских концлагерей. И русских лагерей тоже, но о них думать не полагалось. Следовательно, твои собственные беды были комичны.

Вы хотите сказать, если что-то не трагично, то оно комично?

В искусстве, пусть и не в реальной жизни. Давайте расскажу вам про 1949 год, когда я читал книгу Оруэлла про 1948-й. Война закончилась четыре года назад,

и нам не хватало опасностей – фугасных бомб, например. Можно мириться с лишениями, когда у тебя есть роскошь опасности. Но теперь у нас были лишения худшие, чем в годы войны, и с каждой неделей они как будто становились все тяжелее. Мясной паек сократился до пары ломтиков жирноватой солонины. Выдавалось одно яйцо в месяц и, как правило, оказывалось тухлым. Вареная капуста стала пахучей основой британской диеты. Сигарет было не сыскать. Бритвенные лезвия исчезли с рынка. Помню, один рассказ того времени начинался словами: «Это был пятьдесят четвертый день нового бритвенного лезвия» – вот это комедия. Последствия немецких бомбежек были видны повсюду, и в воронках весело росли камнеломка и вербейник. Все это есть у Оруэлла.

Вы хотите сказать, что «1984» всего лишь комическая картина Лондона конца Второй мировой войны?

В целом, да. Взять хотя бы Старшего Брата. Мы наслышались про Старшего Брата. Реклама «Заочного колледжа Беннетта» шла во всех довоенных газетах. Там вы видели папашу Беннетта, симпатичного старикана, проницательного, но добродушного, который говорил: «Позвольте буду вам отцом». Затем появлялся перенять бизнес Беннетт-сынок, брутального вида тип, который говорил: «ПОЗВОЛЬТЕ, БУДУ ВАМ СТАРШИМ БРАТОМ». А Неделю ненависти помните? Герой книги Уинстон Смит не может подняться к себе в квартиру на лифте, поскольку отключили электричество, – мы все к такому привыкли. Но электричество в романе отключено в рамках экономии при подготовке к Неделе ненависти – типичное правительственное non sequitur[2 - Нелогичное заключение, не следующее из посылок (лат.). – Здесь и далее примеч. пер.]. Так вот мы тогда прекрасно знали, что такое организованная ненависть. Когда я был в армии, меня посылали на курсы в Школу ненависти. Вел их подозрительно молодой подполковник – дружок того влиятельного садиста, а? Нас учили ненависти к врагу. «Давайте, ребята, ненавидьте, бога ради. Посмотрите на эти картинки зверств гуннов. Уж, конечно, вам хочется перерезать гадам глотку. Плюйте на свиней, давите сапогом». И прочая кровожадная чепуха.

И я полагаю, противоречие в той части книги тоже полагается считать комичным?

Противоречие?

Электричество отключено, но телеэкран выкрикивает статистические данные в пустой квартире. Трудно принять мысль о двух независимых сетях энергии.

Об этом я не задумывался. Пожалуй, об этом вообще никто не задумывается. Ну вот, сами видите: обязательный отказ от вопросов и сомнений, свойственный комической сказке. А телеэкран, который смотрит на зрителя? Оруэлл позаимствовал его из «Новых времен» Чарли Чаплина. Но есть тут и доля пророчества. Мы уже вошли в эру супермаркетов с объявлениями: «Улыбайтесь, вас показывают по телевидению».

В те времена в Англии было телевидение?

Вы что, с ума сошли? Телевидение у нас было еще в тридцатых. Система Бэрда, которую Джеймс Джойс назвал «доскойбомбардировкибэрда» или чем-то в этом роде. Имя Джона Бэрда слабым эхом отражается в Йоги Бэр[3 - Персонаж комиксов и мультфильмов, впервые появившийся в 1958 г.]. Я видел самую первую телепьесу Би-би-си – «Человек с цветком во рту» Пиранделло. Изображение передавалось на «доску Бэрда», а звук шел по радио. Олдос Хаксли перенес эту систему в свой «О дивный новый мир», в 1932 году, как мне помнится. Право же, совсем не обязательно иметь телевидение, чтобы оценить возможности его использования. В «Белоснежке» у королевы есть телеэкран, который гоняет всего один-единственный рекламный ролик. В елизаветинской Англии Роберт Грин вывел в «Брате Бэконе и брате Бэнгейе» телеэкран или магическое зеркало для слежки. А ведь было это приблизительно в 1592 году. Слово существовало задолго до появления предмета. В 1948 году, думаю, предмет вернулся. Было очевидно, что он войдет в повседневную жизнь всех и каждого. Среди людей простосердечных бытовало мнение, что лица, которые к вам с него обращались, взаправду на вас смотрят. Телевидение вторгалось в дома. Первые послевоенные программы были скорее дидактическими, чем развлекательными. Экран был для лиц крупным планом, а не для маленьких фигурок из старых фильмов. Перестройка зрения, которую мы сегодня воспринимаем как должное, поначалу давалась непросто – я говорю про способность воспринимать наполеоновскую битву на карманном приборе. Телевизор в углу гостиной был глазом и вполне мог на вас смотреть. Он был членом семьи, но также и агентом огромной корпорации. Помню, как многие стеснялись перед ним раздеваться.

Вы считаете это комичным? Послушайте:

«Конечно, никто не знал, наблюдают за ним в данную минуту или нет. Часто ли и по какому расписанию подключается к твоему кабелю полиция мыслей – об этом можно было только гадать. Не исключено, что следили за каждым – и круглые сутки. Во всяком случае, подключиться могли когда угодно. Приходилось жить, – и ты жил, по привычке, которая превратилась в инстинкт, – с сознанием того, что каждое твое слово подслушивают и за каждым твоим движением, пока не погас свет, наблюдают».

Нет, не комичным, но совсем не таким пугающим. Истинное вторжение в частную жизнь – что вообще возможно попасть под электронное око. Старший Брат не идет за Уинстоном Смитом на кухню или в туалет – во всяком случае, в жилом доме «Победа». (И если уж на то пошло, на мой взгляд, неправильно, что ему позволено жить одному в собственной квартире. Не лучше ли был дортуар с полицейским громилой на кровати у входа?) В постели, в темноте можно думать какие угодно мятежные мысли. Телеэкран – не истинная опасность, не большая, чем прослушка для тех, кто знает, что происходит. Он – метафора смерти частной жизни. Важное тут то, что телекран нельзя отключить. Это как навязчивая рекламная музычка, вечное напоминание о присутствии крупных корпораций, государства, анти-«я».

Но за Уинстоном действительно следят. Его ведь ругает преподавательница физкультуры с телеэкрана.

Да, но в смешных обстоятельствах. Ситуация не слишком отличается от «Лагерей отдыха Билли Батлина», которые были так популярны сразу после войны. Там тебя будили по утрам веселыми криками по местному радио. Там тебя уговаривали делать зарядку перед завтраком под громкую музыку.

Оруэлл знал про эти лагеря?

Нет, он умер прежде, чем они раскрутились. И их создатели про роман не знали. Но самое интересное то, что какое-то время они пользовались огромной популярностью, и происходило это в период, когда термин «лагерь» или мысль о даже безобидной регламентации должна была бы вызвать у среднего англичанина острое отвращение. Разумеется, они были сравнительно дешевы. Но этого было недостаточно, чтобы их рекомендовать. Мужчины приходили из армии, чтобы провести две недели летнего отпуска с женой и семьей в

обстановке, очень напоминавшей армейскую: побудка, полевые кухни, столовые, организованные развлечения, физические упражнения (аспект армейской жизни, который большинство солдат ненавидели больше, чем сами боевые действия). Персонал лагеря носил униформу, их называли «красные мундиры» – название, неприятно близкое к «красношапкам», как называли военную полицию. И из громкоговорителей вечно звучал голос Старшего Брата, призывавший всех быть счастливыми. Засидевшихся в столовой выпивох выпроваживали перед закрытием танцем конга сотрудницы в «красных мундирах». «Лагеря отдыха Батлина» доказали, что английский пролетариат не так уж чужд дисциплине. Рабочий человек противопоставлял армейской жизни не столько гражданскую свободу, сколько привнесение в строгий порядок и дисциплину задушевности. Послевоенный пролетариат с той же готовностью принял «Лагеря отдыха», с какой принимал в английских деревнях американских солдат, мирился с бесконечными очередями и наглостью мелочных бюрократов.

И что это доказывает?

Я отказываюсь искать тут мораль. Мораль, какую нашел Оруэлл в том, что видел на примере британских рабочих, ужасна и чрезмерна. Я предпочитаю искать комичное.

А как же идентификация 1984 года с 1948-м?

Это тоже часть комедии, временами комедии мрачной, временами определенно черной. И толика пафоса. Плакать хочется над Уинстоном Смитом, таким узнаваемым англичанином сороковых, выходцем из рабочего класса… «невысокий тщедушный человек… румяное лицо шелушилось от скверного мыла, тупых лезвий и холода только что кончившейся зимы». Привычный к холоду и лишениям, низкорослый вследствие традиции бедности и плохого питания. Он смотрит на Лондон «со своего рода смутным отвращением… Всегда ли тянулись вдаль эти вереницы обветшалых домов XIX века, подпертых бревнами, с залатанными картоном окнами, лоскутными крышами, пьяными стенками палисадников…» Ответ – не всегда. Это Лондон военного времени или сразу после войны. Это никак не Лондон из пророческого видения.

Вот уж точно. А как насчет Министерства любви, Министерства правды и так далее?

Ну, за Министерство правды вполне можно счесть Дом радиовещания, в котором Оруэлл работал во время войны. Штаб-квартиру Би-би-си. Остальные министерства должны только походить на этот прототип. В Министерстве любви имеется ужасная комната, в которой происходят самые страшные вещи на свете, – комната 101. Из комнаты 101 в подвале Дома радиовещания Оруэлл вел пропагандистские передачи для Индии. Неподалеку от Дома радиовещания находился и все еще находится паб под названием «Джордж», излюбленное местечко служащих Би-би-си. Сэр Томас Бичем окрестил его «Липучкой», поскольку там вечно застревали его музыканты. Прилипло и само название. Так вот, в «1984» описывается место с дурной аурой, кафе «Под каштаном», где в конечном итоге оказывается в ожидании пули со своим гвоздичным джином Уинстон Смит. Кафе – тот самый паб, хотя у «Под каштаном» есть что-то от клуба «Мандрагора», где подавали джин неведомого происхождения и можно было сыграть в шахматы. Как ни странно, плохая аура у «Джорджа» появилась после смерти Оруэлла. Это был как раз такой паб, где можно было выпить с Диланом Томасом, Луисом Макнисом или Роем Кэмпбеллом, а придя туда в следующий раз, услышать, что они умерли. Помните, какую именно песню слышит с телеэкрана Уинстон Смит, когда потягивает свой джин и решает шахматную задачку?

Под раскидистым каштаном

Продали средь бела дня

Я тебя, а ты меня…

У нас это всегда ассоциировалось, разумеется, не с теми неприятными словами, а с королем Георгом VI в его роли вожатого скаутов. Песенку даже превратили в танец, как «Прогулку по Ламбету», и она была ужасающе и буколически невинна. Оруэлл взаправду отравляет будущее, когда подсовывает издевательский «желтый тон», как он назван в романе. Совсем не смешно.

Но вы бы сказали, что в остальном его книга лишь преувеличение дурных времен, ничего больше?

О нет, гораздо больше, но сразу оговорюсь, что Оруэлл на самом деле не предсказывал будущее. Романы создаются не из идей, а из сенсорных данных, и, на мой взгляд, важно тут как раз воздействие этого романа на чувства. Я про джин, от которого идет «противный, маслянистый запах, как у китайской рисовой водки» (откуда Уинстону знать, как пахнет рисовая водка? Тут

вмешиваются вспоминания самого автора, еще недавно служившего в бирманской полиции.). Нехватка сигарет, и единственные сигареты в пайке называются «Победа», эту самую марку выдавали во время войны нашим солдатам, воевавшим за границей, – спорадически. Обман чувств при помощи скверной пищи, выпивки и табака, грубой одежды, дегтярного мыла, тупых бритвенных лезвий, ощущение, что ты неопрятен и грязен, – все это было взаправду, только и ждало, чтобы его перенесли в художественное произведение. Это было скверное время для тела. Ты молил о хлебе насущном минимального комфорта, а тебе протягивали камень прогресса.

Прогресс. Это приводит нас к ангсоцу, так?

Да. Разорванный плакат на улице, полощущийся на ветру, и на нем одно слово: «АНГСОЦ». Английский социализм. Помню, как английский социализм пришел к власти в 1945 году, – это была сокрушительная победа левых. На открытии парламентской сессии пели «Красное знамя». Песня заглушала «Боже, храни короля», «Правь, Британия» и «Страна надежды и славы». Уинстон Черчилль, лидер военного времени и глава консервативной партии, был сперва поражен, что страна отвергла его, человека, который вывел ее через долину тени на солнечное нагорье сравнительной победы, а позднее заговорил о предательстве. Оправдание того, что его отвергли, кроется в самом изумлении: он как будто просто не мог взять в толк, что происходит.

Почему главного героя зовут именно Уинстон Смит?

Мы до этого дойдем. Тема довольно каверзная. Равнозначен ли английский социализм ангсоцу? Считал ли так сам Оруэлл? Он ведь хотел прихода социализма. Мы все этого хотели. Говорили, что английский социализм победил в 1945 году благодаря голосам военнослужащих. Сложнейший механизм был создан на кораблях и в военных лагерях по всему миру, чтобы позволить британским военнослужащим осуществить свое избирательное право. Очень мало кто воздержался от голосования. Очень многие (даже те, кто, как я, был воспитан в традициях консерватизма и кто позднее к ним вернется) без раздумья проголосовали за лейбористов.

Почему?

Уинстон Черчилль сам приложил к этому руку. Офицерский состав его любил, но он не пользовался особой популярностью у рядовых. У него было много качеств народного героя: эксцентричность, дар говорить скабрезности и грубый юмор, манера речи более простонародная, чем у ряда лейбористских лидеров, хотя на деле это был аристократический налет прошлой эпохи. Он мог потреблять бренди и сигары в больших количествах. Но неразумно было с его стороны курить сигары, когда он посещал военные части. Кое-кто из нас тогда душу продал бы за затяжку сигаретой «Победа».

А помимо сигар что с ним было не так?

Он слишком любил войну. К выборам 1945 года многие из нас носили форму почти шесть лет. Нам хотелось все бросить и вернуться (а большинству вообще начать) к настоящей жизни. Черчилль разглагольствовал об опасностях слишком ранней демобилизации. На Восточную Европу опустился «железный занавес»; русский союзник вернулся к своей былой роли большевистской угрозы. Мы, простые солдаты, ничего не смыслили в новых процессах международной политики – во внезапных переменах курса. Мы считали русских нашими великими собратьями в борьбе против фашистской диктатуры, и вдруг Россия стала врагом. Мы были достаточно наивны, чтобы воображать, будто для крупных государственных деятелей, как и для нас, война необходимая, пусть и болезненная интерлюдия. Мы не знали, что крупные государственные деятели считают войну аспектом постоянной политики. С нас было довольно Черчилля. Он плакал, когда мы его отвергли.

Но Оруэлл явно им восхищался. Иначе не назвал бы в честь него своего героя.

Нет, нет и нет. Многим американским читателям «1984» казалось, что имя Уинстона Смита – символ благородной свободной традиции, утраченной навсегда. Но ничего подобного не было. Тут снова комедия. Имя «Уинстон Смит» комично и вызывает смех английских читателей. Оно намекает на нечто неопределенное, на политическое дилетантство, у которого не было ни единого шанса против современных профессионалов.

Но ведь неприятие Черчилля явилось самой малой из причин победы социализма в 1945 году? Разве в годы войны не проводились обязательные занятия по гражданскому праву? Разве не это подтолкнуло военнослужащих желать смены правительства?

До некоторой степени. Большая часть населения Англии никогда политикой не интересовалась, но во время войны действительно предпринимались шаги для внедрения обязательного политического образования, особенно в армии: еженедельные собрания, на которых под руководством взводных командиров обсуждался тематический материал, поставляемый Армейским бюро текущих событий (АБТС). АБТС – это своего рода предвестник новой эры, многозначительная аббревиатура. Была даже зажигательная песня, которую, однако, никто не пел:

АБТС – произнеси или спой:

К дивному новому миру

Ведет АБТС за собой.

Пока над Европой

Не зареет свободы флаг,

Сбережем наш великий

Демократии очаг.

Боже ты мой, ну и чушь… Также устраивались образовательные лекции офицеров или сержантов о том, что называлось британским предназначением и образом жизни. По сути, была предпринята попытка, как выражались политики, возродить идею сознательной гражданской армии в духе «круглоголовых» Кромвеля, которые якобы знали, за что воюют. Были также откровенные заимствования у советской армии с ее газетами, комиссарами и политическими руководителями, иначе говоря – политруками.

Что с точки зрения истории представляли собой британское предназначение и образ жизни?

Не могу точно сказать. Понятия как-то расплываются и двоятся, почти шизофренично. Или, возможно, Образ жизни и Предназначение не слишком хорошо уживались друг с другом. Большая часть присылаемого материала была устарелой, например прославление колониальной системы, которая уже рушилась, но образованным слушателям среди военнослужащих позволялось на собраниях осуждать империализм и влиять на товарищей, которые даже не подозревали о существовании Британской империи. Были материалы о

построении государства всеобщего благосостояния с идеей единого государственного страхования, позаимствованной у бисмарковской Германии либералом лордом Бивриджем и известной как План Бивриджа. Думаю, британский образ жизни был демократичным, а британское предназначение – насаждать, где возможно, своего рода осмотрительный эгалитаризм. Не знаю. Зато я точно знаю, что некоторые полковники-реакционеры отказывались проводить дискуссии по материалам АБТС в своих полках, называя все это «социализмом».

А полковники-революционеры существовали?

Только не в британской армии. А вот среди рядового состава и младших офицеров революционеров было немало, иногда встречался даже какой-нибудь лейтенант из Лондонской школы экономики. В общем и целом свое самое гротескное отражение английская классовая система нашла в британской армии. Профессиональные офицеры высокого ранга внедряли традиционную манеру речи и общественного поведения: офицер должен был быть джентльменом, что бы это ни значило. Существовала общая, мягко говоря, антипатия рядовых по отношению к офицерам в целом, огромная пропасть манер, речи, социальных ценностей, пропасть между теми, кто поднимал в атаку, и теми, кто не хотел в атаку подниматься. Даже тридцать с чем-то лет спустя после демобилизации найдется немало бывших рядовых, лелеющих мечту отомстить за прошлые обиды, оскорбления, нюансы пренебрежения высших классов. В памяти сохраняется еще отголосок «офицерского голоса» – пронзительные гласные фельдмаршала лорда Монтгомери, например, – которые пробуждают безнадежную, бессильную ярость. Структура армии была своего рода вопиющей пародией на структуру довоенного гражданского общества. Если ты приходил в армию умеренным радикалом, то к выборам 1945 года становился уже радикалом отъявленным. В двух словах итог этому при мне подвел один валлийский сержант: «Когда я призвался, то был красным. Теперь я, мать вашу, пурпурный». Если бы английская коммунистическая партия выставила больше кандидатов, состав первого послевоенного парламента оказался бы очень и очень интересным.

Только и всего? Английская армия привела к власти лейбористов потому, что не любила Черчилля и ей не нравилось, как ею руководят?

Нет, дело было в гораздо большем. Среди английских солдат бытовала своего рода утопическая мечта: им необходимо было верить, что они сражаются за

нечто большее, чем поражение врага. Они защищали не правое дело от неправого, а неправое – от много худшего. Современная война нарушает функционирование гражданского общества и облегчает восстановление, а не переустройство. Строительство с нуля, которое гарантировало бы давно откладываемую социальную справедливость, – вот что было мечтой войны 1914–1918 годов с ее лозунгом «Страна, пригодная для жизни героев», но эта мечта так и осталась неосуществленной. Демобилизованные солдаты в трущобах или домах для инвалидов, без работы и без надежды, жалели, что не погибли на Сомме. Такого больше не повторится, сказали англичане, и действительно, – оно не повторилось. В 1945 году, возможно, впервые в истории, простые англичане получили то, о чем просили.

Оруэлл получил то, что просил?

Оруэлл был истинным социалистом и был только рад видеть, что к власти, наконец, пришло правительство социалистов.

Но его реакцией стал пугающий роман, в котором английский социализм гораздо хуже и немецкого нацизма, и своей русской разновидности. Почему? Что пошло не так?

Не знаю. В английском социализме, который пришел к власти в 1945 году, не было ничего от ангсоца. Конечно, была жажда власти, равно как и коррупция, неэффективность, стремление к контролю ради самого контроля, угрюмое удовольствие от закручивания гаек «политики строгой экономии». Британский радикализм так и не сумел избавиться от своих пуританских корней, а возможно, того и не желал. Типичной фигурой послевоенного социалистического правительства стал сэр Стаффорд Криппс, министр финансов. Это был мрачный приверженец прогресса без радости, про которого Уинстон Черчилль однажды сказал: «Господь без благодати». Простые люди видели в нем предмет насмешек. В честь его окрестили чипсы, и в пабах спрашивали пакеты «сэров стаффсов». Но ничего смешного в нем не было, а британский пуританизм был слишком косным и ожесточенным, чтобы отмахнуться от него со смехом. Пуританизм 1984 года, который доходит до своего предела (даже сэр Стаффорд Криппс не мог отменить секс), многим обязан 1948 году. Как я и говорил, рука об руку со строгой экономией шла нахальная бюрократия, которая становилась тем наглее, чем ближе находилась к простым людям, как, например, в местных офисах выдачи продовольственных карточек, но никакого Старшего Брата не существовало. Многие из первых читателей книги Оруэлла в Америке

предположили, что перед ними едкая сатира на лейбористскую Англию; несколько британских тори поглупее даже потирали руки, злорадствуя, сколько Оруэлл принесет голосов тори. Но никто из них как будто не понимал – а ведь это лежало на поверхности, – что Оруэлл убежденный социалист и таковым останется до самой смерти. Парадокс того, что английский социализм пришел в ужас от английского социализма, так и остался неразрешенным, и разрешить очень и очень не просто.

Думаю, я могу его разрешить.

Как?

Вот послушайте отрывок из «Дороги на причал Уиган». Оруэлл смотрит из окна поезда на задние дворы нортэмских трущоб: «На голых камнях стояла на коленях молодая женщина и ковыряла палкой в канализационной трубе. Я успел хорошо ее разглядеть: бесформенные, неуклюжие боты, руки, покрасневшие от холода. Когда поезд проходил мимо, она подняла глаза, и я оказался достаточно близко, чтобы поймать ее взгляд. У нее было круглое бледное лицо… и в мгновение на нем запечатлелось самое потерянное, самое безнадежное выражение, какое мне только доводилось видеть… В ее лице я увидел не тупое страдание животного. Она прекрасно сознавала, что с ней происходит, она не хуже меня понимала, что за ужасная участь стоять тут на коленях на лютом холоде… и ковырять палкой в вонючей канализационной трубе». Вспомните, тот же образ-картина возникает в «1984». Я про миссис Парсонс в первой части романа. Канализационная труба у нее забилась, и Уинстон Смит ее прочищает. Сизифовский образ. Безнадежность участи женщины низшего класса. Оруэлл считал, что настоящий социалист должен быть не на стороне больших шишек из партии, а на стороне женщины, сражающейся с канализационной трубой. Но можно ли помочь ей, не приведя к власти эту самую партию? Партия пришла к власти, но канализационная труба так и остается забитой. Несовместимость реальностей жизни с абстракциями партийной доктрины – вот что наводило тоску на Оруэлла.

Отчасти да. Но скажем иначе. Одна из проблем с политическими убеждениями заключается в том, что ни одна политическая партия не способна сказать всей правды о потребностях человека в социуме. Если бы могла, она не была бы политической партией. Однако честный человек, который хочет трудиться на благо своей страны, должен принадлежать к какой-нибудь партии, что означает – несколько безнадежно – принять того, что сводится к частичной правде.

Только злобные или глупые способны на абсолютную преданность партии. Оруэлл был социалистом, поскольку не видел будущего в сохранении традиционного laissez faire[4 - Положение вещей (фр.).]. Но трудно сохранять в одиночку свой личный социализм перед лицом реальных социалистов, тех, кто – с непревзойденной логикой – хочет довести социализм до его крайнего предела.

Вы хотите сказать, что социализм Оруэлла был скорее прагматичным, чем доктринальным?

Взгляните с такой стороны. Когда он работал в левой газете «Трибьюн», ему приходилось терпеть порицание более ортодоксальных читателей. Им не нравилось, что он пишет о литературе, которая как будто мешала, а не способствовала «делу», – например, о поэмах роялиста-англиканца, да к тому же тори по убеждениям, Т.С. Элиота или о лингвистических экспериментах самородка Джеймса Джойса. Ему приходилось почти извиняться за то, что просит своих читателей пойти посмотреть на первые одуванчики в парке, а не проводить воскресенье, раздавая левацкие памфлеты. Он знал, в чем суть марксизма. Он сражался бок о бок с марксистами в Испании, но в отличие от более радикальных английских социалистов был не готов закрывать глаза на то, что делается от имени марксизма в России. Его радикализм был радикализмом XIX века – с сильной примесью чего-то более старого, диссентерского духа Дефо и гуманистического гнева Свифта. Он заявлял, что Свифтом из всех писателей он восхищается с наименьшими оговорками, и то, что Свифт был деканом собора Святого Патрика в Дублине, нисколько не оскорбляло его агностицизма. Оруэлл написал одно скверное, но очень трогательное стихотворение: в своей прошлой инкарнации он оказывается сельским священником, который медитирует в садике, глядя, как растут ореховые деревья.

То есть в его английском социализме было больше английского, чем социализма.

Красиво сказано, и в этом есть изрядная доля истины. Свою страну он любил гораздо больше своей партии. Ему не нравилась тенденция более ортодоксальных социалистов жить в мире чистой доктрины и игнорировать реалии унаследованной, национальной традиции. Оруэлл ценил свое английское наследие – язык, полевые цветы, церковную архитектуру, «Оксфордский мармелад Купера», невинную непристойность открыток со взморья, англиканские гимны, горькое пиво, отменную чашку крепкого чаю. Вкусы у него были буржуазные, а сам он хотел стать на сторону рабочих.

Но он не отождествлял себя с рабочими. Ужасно, что он как будто винил рабочих в своей неспособности влиться в их ряды. Я говорю про тотальное осуждение пролов в «1984»…

Не забывайте, он был сыт по горло и утратил надежду. Он пытался любить рабочих, но не мог. В конце концов, он был выходцем из правящего класса, он учился в Итоне, он говорил с аристократическим акцентом. Когда он призывал своих собратьев-интеллектуалов по среднему классу спуститься на ступеньку и принять культуру горняков и фабричных рабочих, он говорил: «Вам нечего терять, кроме произношения». Но сам-то он не мог его «потерять». Сердцем он был за справедливость для рабочего класса, но не мог принять рабочих как реальных людей. Они были животными – благородными и могучими, как конь Боксер из «Скотного двора», но, по сути, из иного теста, чем он сам. Он боролся со своей неспособностью любить их путем отчаянного самоотречения: вынудил себя скитаться по трущобам Парижа и Лондона, провел несколько месяцев в аду, плодом которых стала книга про «Причал Уигана». Он жалел рабочих – или животных. А еще он их боялся. В его произведениях силен элемент ностальгии – по жизни рабочего класса, которой он не мог жить. И эта ностальгия превратилась в неуемную тоску по дому. А она, в свою очередь, смешалась с другой ностальгией.

Вы имеете в виду ностальгию по прошлому? По смутному английскому прошлому, коего не вернуть. По диккенсовскому прошлому. Это подпитывало его социализм. Социализму следует отвергать прошлое как зло. Его взгляд должен быть целиком и полностью устремлен в будущее.

Вы правы. Оруэлл воображает невозможно уютное прошлое – прошлое как своего рода кухню, где с балок свисают окорока и пахнет старой собакой. Как социалисту ему следовало бы относиться к прошлому настороженно. Как только начнешь тосковать по доброму полицейскому, чистому воздуху, шумным вольным речам в пабе, по семьям, члены которых держатся заодно, по жареном мясу и йоркширскому пудингу, по буйству старого мюзик-холла, не успеешь оглянуться, как станешь ломать шапку перед сквайром. Этому прошлому приходится противопоставлять настоящее – настоящее с его политическими догмами, вооруженными полицейскими, выдохшимся пивом, страхом перед прослушиванием, рыбными сосисками. Помните героя «Глотнуть воздуха»? Он откусывает от такой дряни и говорит, что ощущение такое, будто у тебя на языке современный мир. Оруэлл, кажется, боится будущего. Он хочет противопоставить ему прошлое, точно прошлое было реальным миром с

неподдельными предметами.

А ведь предполагается, что роль подрывного элемента играет как раз будущее. Тем не менее мятеж Уинстона Смита связан с прошлым.

Прошлое действительно играет роль подрывного элемента в том смысле, что противостоит доктринальным ценностям теоретиков. Прошлое человечно, а не абстрактно. Возьмем даже малозначительные и наиболее нейтральные на первый взгляд области – например меры длины и веса. «1984» – поистине пророческая книга в том смысле, что Британия переходит на метрическую систему. В конце войны официально предложение заменить традиционные единицы картезианскими абстракциями Франции еще даже не выдвигалось, но все были уверены, что перемены не за горами. Дюймы, футы и ярды слишком уж сопряжены были с пальцами и конечностями, чтобы оставаться приемлемыми в поистине рациональном мире. Накачивающийся пивом прол, которого встречает Уинстон Смит, жалуется, что ему приходится пить литрами и полулитрами, нет, ему подавай традиционную пинту. Однако невзирая на протесты традиционалистов Великобритании, следовало дать десятичную монету. Оруэлл знал, что так случится: в карман Уинстону Смиту он вкладывает доллары и центы. Как известно британцам, реальность в том, что «тяжелый» доллар по-прежнему называется фунтом, в котором сотня новых пенсов, – постыдная и обесчеловечивающая ликвидация. Денежная система американцев обладает аурой революционной необходимости, и им никогда не понять, почему утрата старых шиллингов, полукрон и гиней ранила англичан в самое сердце. Весь смысл традиционной системы в том, что она возникла не из абстрактного рационализма, а из эмпирического здравого смысла. Фунт можно делить на любое число: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас же, если пытаешься делить на 3, получаешь бесконечные знаки после запятой.

На 7 и 9?

Да. Фунт плюс шиллинг дает гинею. Одна седьмая гинеи – три шиллинга. Одна девятая гинеи – два шиллинга и четыре пенса, или малайский доллар. Пока существовало семь дней в неделю, четыре недели в месяце, двенадцать месяцев в году и час, который делился на три и его множители, старая система представляясь разумной. Но она должна была исчезнуть, поскольку была слишком разумной, слишком человечной. А еще она совершила тяжкую ошибку в том, что сохраняла древние народные традиции, поскольку названия денежных единиц вошли в поговорки и присловья. «Апельсинчики как мед, в колокол Сент-

Клемент бьет. И звонит Сент-Мартин: отдавай мне фартинг». Такие присловья и песенки – таинственное звено между Лондоном Старшего Брата и древним, погребенным Лондоном старых церквей, дымоходов и свободы совести. Но к 1984 году в романе уже никто не знает, что такое фартинг. Знание было утрачено в 1960-м. Не понятно, о чем идет речь в детской песенке «Вот песня за полпенса, ее я спеть готов…», как не имеет смысла и счет шекспировского Фальстафа в «Кабаньей голове»: каплун – 2 шиллинга 2 пенса, соус – 4 пенса, херес, 2 галлона – 5 шиллингов, 8 пенсов, анчоусы и херес после ужина – 2 шиллинга, 6 пенсов; хлеб – ? пенса.

Почему у Оруэлла Уинстон Смит просыпается с именем Шекспира на устах?

Шекспир, хотя пока и не объявлен партией вне закона, противостоит существующему порядку. Бог знает, во что его превратил новояз, но староязовский Шекспир полон индивидуальности, индивидуальных жизней и индивидуальных решений. Шекспир означает прошлое. Но заметьте, что Уинстон Смит пробуждает прошлое на гораздо более опасный лад. За два с половиной доллара он покупает книгу с пустыми страницами кремовой гладкости, неведомой в современном ему мире, – или, если уж на то пошло, в современной Советской России. Еще он покупает архаичный инструмент для письма – ручку с настоящим пером. Он намерен вести дневник. Он считает, что может делать это с известной долей безнаказанности, поскольку его письменный стол стоит в маленьком алькове далеко за пределами видимости телеэкрана. Сперва он пишет все, что в голову взбредет, потом отвлекается и позволяет руке самой водить по бумаге. Опустив взгляд, он видит, что раз за разом, на чистейшем автоматизме написал одну и ту же фразу: «ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА». В дверь стучит миссис Парсонс, та самая, у которой засорился сток, но, что касается Уинстона Смита, это вполне может быть уже полиция мыслей. Подойдя к двери, он замечает, что оставил книгу открытой. «Непостижимая глупость. Нет, сообразил он, жалко стало пачкать кремовую бумагу, даже в панике не захотел захлопнуть дневник на непросохшей странице». Подрывной акт и орудия, которыми он совершен, сливаются воедино. Прошлое – враг парии. Следовательно, прошлое реально. Разобравшись с проблемами миссис Парсонс, он пишет:

«Будущему или прошлому – времени, когда мысль свободна, люди отличаются друг от друга и живут не в одиночку, времени, где правда есть правда и былое не превращается в небыль. От эпохи одинаковых, эпохи одиноких, от эпохи Старшего Брата, от эпохи двоемыслия – привет!»

Мы можем говорить, обращаясь к прошлому, как обращаемся к будущему, – ко времени, которое уже мертво, и ко времени, которое еще не родилось. И то и другое абсурдно, но абсурдность необходима для свободы.

И наоборот, это доказывает, что сама свобода абсурдна.

Да, да. Для некоторых современников Оруэлла свобода, несомненно, была архаичным абсурдом. Великобритания и ее союзники воевали с фашизмом, который был посвящен ликвидации личной свободы, но один из этих союзников подавлял свободу не меньше врага. Когда Советская Россия стала другом демократических стран…

Ненадолго.

Да. Вот тогда люди с трепетной совестью поверили, что война с ним утратила смысл. Вот тогда от англичан требовалось любить Сталина и восхвалять советский строй. Ряд британских интеллектуалов, особенно тех, кто был связан с левым журналом «Нью стейтсмен», даже проповедовали тоталитаризм сталинской модели. Например, редактор самого журнала Кингсли Мартин. Точку зрения Мартина на советского вождя Оруэлл суммировал приблизительно так: Сталин совершал ужасающие действия, но в целом они служили делу прогресса, и нельзя позволить заслонить этого факта нескольким миллионам расстрелов. Цель оправдывает средства. Это очень современный подход. Оруэлл действительно полагал, что большинство британских интеллектуалов склонны к тоталитаризму.

Он зашел слишком далеко.

Сами подумайте… В природе интеллектуала быть прогрессивным, иными словами, он обычно поддерживает ту политическую систему, которая принесет скорые перемены для простого люда, а это, в свою очередь, предполагает презрение к неповоротливому старому демократическому прогрессу с его терпимостью к оппозиции. Любая государственная машина способна перемолоть прошлое и создать рациональное будущее. Очень интеллектуальная идея. Были даже интеллектуалы, которые казались Оруэллу «фашистами», так они были влюблены в авторитаризм или по меньшей мере так готовы его терпеть – писатели вроде Элиота, Йейтса, Ивлин Во, Роя Кэмпбелла, даже Шоу и Уэллса, но

те интеллектуалы, кто не был фашистом, обычно бывали коммунистами, что – если говорить о государственной власти, репрессиях, однопартиной системе и так далее – сводилось к тому же самому. Термины «фашизм» и «коммунизм» не отражают истинной полярности. Оруэлл считал, что они оба подпадают под одну категорию с названием вроде «олигархический коллективизм».

И тем не менее любая прогрессивная мысль – плод труда интеллектуалов. Без интеллектуалов, без их призывов к социальной справедливости, устранению мотива прибылей, к равным доходам, к уничтожению наследственных привилегий и так далее – разве вообще возможен прогресс?

Но так ли уж бескорыстны их разговоры о прогрессе? Оруэлл, как и Артур Кестлер, достаточно хорошо понимал движущие пружины европейской власти. Обоим казалось, что ни один человек не стремится к политической власти из чистого альтруизма. Кестлера отправила в тюрьму система, которую он поддерживал. Оруэлл сражался за свободу в Испании, и ему пришлось спасаться бегством, когда русский коммунизм осудил каталонский анархизм. Интеллектуалы с политическими амбициями должны вызвать подозрение. Ведь в свободном обществе интеллектуалы относятся к непривилегированным. Что они предлагают – как учителя, лекторы и писатели, – не пользуется большим спросом. Если они пригрозят отказать в своем труде, никто особо не обеспокоится. Отказаться публиковать томик белых стихов или проводить семинар по структурной лингвистике – совсем не то что перекрыть поставки электричества или остановить автобусы. Им не хватает власти босса-капиталиста, с одной стороны, и власти профсоюзного босса – с другой. Они разочаровываются. Чисто интеллектуальные удовольствия кажутся им неадекватными. Они становятся революционерами. Революции, как правило, плоды трудов недовольных интеллектуалов с даром к пустой болтовне. Интеллектуалы идут на баррикады во имя крестьянина или рабочего. Ведь «Интеллектуалы всего мира объединяйтесь» – не слишком вдохновляющий лозунг.

Но почему Оруэлл боялся интеллектуалов? Ведь не интеллектуалы сидели в лейбористском правительстве конца 1940-х годов.

Нет. Лидеры лейбористов не относились к приверженцам «Нью стейтсмена». У них не было желания превратить Великобританию в миниатюру сталинской России. Но поговаривали – а возможно, больше, чем только поговаривали, – об опасности усиливающегося государственного контроля, разрастающейся

бюрократии, обесценивания индивидуальности, которая неизбежно следует из доктрины равенства. Строго говоря, социалистическое правительство может осуществить свой идеал тотальной государственной собственности, если получит бессрочный мандат. Сама идея социализма недемократична, если под демократией мы понимаем противостоящие друг другу партии, свободу волеизъявления и периодические всеобщие выборы. Парламент все больше превращается в место для проталкивания партийных законопроектов и игнорирования таких вопросов, как права индивида, для защиты которых и существуют главным образом члены парламента. Оруэлл не дожил до компромисса, который представляет собой английский социализм сегодня: минимальная государственная собственность, система социального обеспечения, которая обходится слишком дорого, масса «уравнивающих» законов, которые нелегко провести в жизнь, и неизбежное ущемление индивидуальных – как противоположных коллективным – устремлений. Но даже в те первые упоительные дни социализма концепция ангсоца не могла бы зародиться – разве только на квартире какого-нибудь университетского лектора.

Вы думаете, это был чисто ономастический выверт?

Да, совершенно циничное присвоение вполне почтенного названия и его опошление. После Гитлера кто-нибудь вспоминает национал-социализм без содрогания? Связь между английским социализмом 1948 года и ангсоцем 1984 года чисто номинальная. Вообразите: группа интеллектуалов вокруг «Нью стейтсмена» захватила не только Великобританию, но и весь англоговорящий мир. Поскольку Англия, или Взлетная полоса I, оказывается всего лишь придатком Америки, следует предположить, что олигархи из «Нью стейтсмена» сначала одержали верх в Соединенных Штатах и уж затем, наделенные властью, вернулись домой. Не может быть ничего абсурднее, и Оруэлл это понимает. Была великая ядерная война, но после нее большая часть викторианского Лондона еще стоит – опять же абсурд. Сохранились смутные воспоминания о политических чистках в пятидесятые годы, но личные воспоминания Уинстона Черчилля – да и практически всех остальных – имеют оттенок тускнеющего сна. Абсурд. Всех как будто охватила амнезия, даже когда они не практикуют «самостоп». Своего рода отражение это находит в нашей готовности признать, что мы не знаем и что нам нет дела до того, как совершилась революция. Это просто необходимый прием, чтобы привести к власти интеллектуалов. Абсурдно, комично. Я возвращаюсь к тому, с чего начал.

Так, по-вашему, в «1984» нет ничего «тысяча девятьсот восемьдесят четвертого»? Что все уже было в 1948 году и только ждало своего часа?

В каком-то смысле да. Достаточно было импортировать в Великобританию то, что в реальности существовало лишь в газетах или официальных заявлениях, – пытки или концентрационные лагеря. Интеллектуальный тоталитаризм следовало реализовать средствами художественной литературы. Но романы действительно пишутся на основе повседневного опыта, и недовольство Уинстона Черчилля вызвано тем, что вызывало недовольство и у нас: грязные улицы, ветшающие здания, тошнотворная еда в заводских столовых, правительственные лозунги на стенах...

Лозунги вроде «СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО» или «НЕВЕЖЕСТВО – ЭТО СИЛА»?

У нас они тогда были не совсем такие. Те, что вы назвали, чистой воды нацистская Германия. Но помню, что, когда я только-только демобилизовался и вернулся домой из-за границы, на первом же правительственном плакате мирного времени, какой я увидел, была изображена осунувшаяся горюющая женщина в черном, а подпись под ней гласила: «НЕ ПУСКАЙ СМЕРТЬ НА ДОРОГИ». Разумеется, кто-то зачеркнул лозунг и подписал ниже: «ОНА ГОЛОСОВАЛА ЗА СОЦИАЛИСТОВ». Мы привыкли к плакатам, которые вывешивало Министерство информации, по большей части топорным, далеким от тонкой двусмысленности плакатов ангсоца: «ВАШЕ УСЕРДИЕ, ВАШЕ ТЕРПЕНИЕ, ВАШЕ УПОРСТВО ПРИНЕСУТ НАМ ПОБЕДУ». «Вы» и «мы» – понимаете? Неудивительно, что все мы стали чертовски пурпурными. «БУДЬ КАК ПАПА, ДЕРЖИСЬ МАМЫ». Это едва не вызывало бунт среди работающих матерей. Лозунги стали частью британского образа жизни. Оруэлл не дал нам ничего нового.

Разве предостережение не было новым?

Какое предостережение? Он говорил нам лишь то, что сказал Англии эпохи Кромвеля Мильтон: держитесь за свои свободы. Возможно, Оруэлл даже этого не сказал. Он играл в интеллектуала, создавая действующую модель утопии или какотопии. Скорее он хотел показать, как далеко можно зайти, прежде чем рухнет тщательно выстроенная структура. А ведь он уже заставил животных разыграть Октябрьскую революцию. Еще одна игра. Он изображал из себя Свифта de nos jours[5 - Наших дней (фр.).]. Стройте собственное жуткое будущее, развлекайтесь. Все сработало, и Оруэлл должен быть доволен. Но удовольствие не имеет никакого отношения к политике.

Спасибо, мистер э…

## Размышления об ангсоце

Нет сомнения, что Океанией правит олигархия утонченных интеллектуалов. Она культивирует слегка солепсистскую философию, она знает, как манипулировать языком и памятью и посредством их природой воспринимаемой реальности, и она всецело сознает, по каким причинам жаждет власти. Она научилась подавлять личные амбиции в интересах личного правления. В Океании нет ни гитлеровского, ни сталинского культа личности: Старший Брат – вымысел, фиктивная личность и потому бессмертен, а с ним и те, кто ему сопричастен. Олигархия научилась примирять противоположности не через диалектику, которая диахронична и признает отсутствие контроля над временем, но через технику синхронного двоемыслия. Ангсоц – первый профессиональный правящий режим и, следовательно, последний.

Его доктрины основаны не просто на этике, а на метафизике. Что политическая система в силу логики коренится в концепции реальности, разумеется, восходит еще к Платону. Особенность восприятия ангсоцем реальности заключается в том, что его метафизика уместна для отдельного разума, но не коллективного. Прежде чем метафизика обретет всеобщую значимость, коллектив должен научиться мыслить как единый разум.

Солипсизм – термин, происходящий от латинских слов «solus» и «ipse» (буквально его составные части означают «одинокое «я» или «я» само по себе»). Солипсизм постулирует, что реальность существует только в рамках «я» или, более логично, что познанию и верификации поддается только «я». Следовательно, нельзя предполагать, будто что-то во внешнем мире имеет независимое бытие. Солипсизм идет дальше простого идеализма, который постулирует, что разум реален, а материя не более чем идеи, но не обязательно отвергает существование многих разумов и в конечном итоге постулирует наличие всеобъемлющего божественного разума. Солипсизм учит, что невозможно доказать бытие разумов иных, нежели solus ipse. Однако он все-таки допускает временную или частичную прерывистость индивидуального разума, чтобы отрицать логику, признавать противоречие или непоследовательность. Если одиночный разум реален, его воспоминания не могут быть иллюзорными.

Прошлое не зыбко и не приспособляемо: в рамках разума оно обладает истинным бытием и не может быть изменено настоящим. Математические формулы неизменны, то есть 2 + 2 всегда равно 4. Коллективному солипсизму ангсоца до этого нет дела. 2 + 2 иногда равны 4, но с той же вероятностью могут дать 3 или 5. Звучит безумно. Но партия учит, что безумие – атрибут индивидуального разума, который отказывается слиться с коллективным и принять его точку зрения на реальность. Уинстон Смит цепляется за простую арифметику как за истину, неподвластную даже партии, но часть его процесса реабилитации заключается в том, чтобы учиться убеждать себя (а не просто механически принимать), что 2 + 2 равно тому, что говорит партия. Шекспир, предвидевший многое, предвидел следующее:

КАТАРИНА: Как «месяц»? Солнце! Это свет дневной.

ПЕТРУЧЧО: Я говорю – как ярко месяц светит.

КАТАРИНА: А я скажу: как ярко светит солнце.

[…]

ПЕТРУЧЧО: Я говорю, что это месяц.

КАТАРИНА: Месяц.

ПЕТРУЧЧО: Вздор! Это свет ликующего солнца.

КАТАРИНА: Хвала Творцу! Конечно, это солнце.

А может и не солнце, – как ты хочешь;

Твои слова изменчивы, как месяц,

Зови, как хочешь, так оно и будет,

И так его я буду называть[6 - У. Шекспир. Укрощение строптивой. Перевод П. Гнедича.].

Строптивого Уинстона Смита следует укротить, и О’Брайен выступает в роли его Петруччо.

Солипсизм партии гораздо здоровее и разумнее (и уж, конечно, гораздо последовательнее) всего, что, как традиционно считалось, охватывает данный термин. Можно сказать, что solus ipse заключал в себе пространство, но время лежало за его пределами и являлось одним из условий его бытия. Но логически следует, что единичный разум, если является единственной реальностью, должен содержать в себе все, включая время. А также саму логику. Чувства – лишь инструменты на службе «я», и небезупречны. Существование обмана чувств никто не станет отрицать. Как мы отличаем иллюзию от реальности? Неразумно полагаться исключительно на органы. Только «я» – эта нематериальная, верифицируемая сущность – способна установить, что реально, а что нет. Чтобы наделить «я» этим единственным атрибутом, который требуется, чтобы оно стало конечной реальностью – фиксированной, неизменной, бессмертной, богоподобной, – необходимо только сделать это «я» коллективным.

Почему-то эта идея бессмертной, всемогущей, вездесущей, всеконтролирующей человеческой сущности скорее ободряет, чем вселяет уныние. История человека – это история его упорной борьбы за контроль над своим окружением, и поражение всегда является следствием ограниченности отдельного индивида, чей мозг устает, а тело стареет. Возвысьте коллективное и принизьте индивидуальное, и история превратится в череду человеческих побед. Чем, собственно, и является история ангсоца.

Чтобы коллектив функционировал как единый разум, все его члены, или ячейки, должны быть едины относительно того, что они видят и помнят. Для того чтобы привести индивидуальные наблюдения и память к тому, что, согласно постановлению партии, в каждый данный момент является истиной, используется методика, получившая название двоемыслие. Реальность приравнивается к актуальному моменту. Прошлое не определяет настоящее, это настоящее модифицирует прошлое. Все не так чудовищно, как кажется. Память коллективного разума должна содержаться в записях архивов, а в природе архивов – чтобы их меняли. Сделаем еще шаг: прошлого не существует, а потому

мы вольны его создавать. Когда одно созданное прошлое вступает в конфликт с другим, в дело вступает двоемыслие. Формальное определение ему дано в книге, приписываемой Эммануэлю Голдстейну, необходимому, а потому неубиваемому врагу общества Океании, и озаглавленной «Теория и практика олигархического коллективизма»:

«Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоположных убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; следовательно, сознает, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины. Двоемыслие – душа ангсоца, поскольку партия пользуется намеренным обманом, твердо держа курс к своей цели, а это требует полной честности. Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобится, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, – все это абсолютно необходимо».

Существование книги Голдстейна, в той же мере детища партии, как и самого Голдстейна, можно считать актом двоемыслия очень тонкой природы. Устами вымышленного врага партия практически обвиняет саму себя во лжи. Она раскрывает мотив обмана, стоявший за тем, чтобы говорить правду. Она объединяет два несовместимых процесса: сознательное и бессознательное. Она – вместилище всех добродетелей и одновременно признает возможность вины. Двоемыслие используется для определения двоемыслия.

Двоемыслие не должно вызывать ни смеха, ни содрогания как пугающая фантазия автора. Оруэлл сознавал, что практически формулирует мыслительный процесс, который человечество всегда находило «абсолютно необходимым», и не только мыслительный процесс: мы даже не подозреваем, насколько привыкли соединять противоположности в нашем эмоциональном и даже чувственном восприятии. «Odi et amo», – писал Катулл, «ненавижу и люблю» один и тот же предмет в одно и то же время. Оруэлл сам как-то указал, что мясо одновременно вкусно и отвратительно. Сексуальный акт совершают по доброй воле, при этом к нему побуждает биологическая потребность; он экстатичен эмоционально, но животен по своей природе. Рождение – начало смерти. Человек – двойственное существо, в котором плоть противостоит духу, а инстинкт – устремлениям.

Оруэлл очень четко сознает собственную двойственность. Он был одновременно Эриком Блэром[7 - Настоящее имя писателя.] и Джорджем Оруэллом, выходцем из правящего класса, который стремился отождествить себя с рабочими, интеллектуалом, не доверявшим интеллектуалам, словесником, не доверявшим словам. Двоемыслие, хотя и представлено как инструмент подавления, кажется вполне разумной методикой. Наше собственное отношение к двоемыслию неизбежно двоемысленно.

Едва ли найдется хотя бы одно человеческое переживание или ощущение, которое не было бы амбивалентным. Философы ангсоца практически говорят: мы признаем, что человеческая жизнь отчасти вопрос жонглирования противоположностями. Мы хотим создать новую человеческую сущность, коллективную, которая функционировала бы как единый организм. Единства мысли можно достичь, выковав сознательную технику устранения противоречий (заметьте, что, когда вы дошли до слова «выковать», вам самим пришлось произвести молниеносный акт двоемыслия. В контексте, подразумевающем обман, вы были готовы ухватиться за значение, подразумевающее подделывание чека или денег, но затем вам пришлось вернуться к основному значению слова, то есть к изготовлению металлических предметов, овеянных аурой честности кузнеца). Не позволим контролировать себя феноменам, а будем сами контролировать их. Пусть между прошлым и будущим установится тотальная гармония. Что такое прошлое, эта инертная, плохо понятая масса хаотичных событий, чтобы оно имело право оказывать влияние на солнечную реальность настоящего? Вопрос тут в том, кто кому хозяин.

Двоемыслие – не только достаточно серьезная техника умственного контроля, но еще и мрачная шутка. Как и всех нас, Оруэлла тошнит от лжи политиков, но он сознает, что подобная ложь редко бывает следствием неподдельного цинизма или презрения к массам. Политик целиком и полностью предан своей партии и должен искать способы представить худшее дело лучшим. Он не хочет лгать, но должен. Он может избегать откровенной лжи посредством плетения словес или эвфемизмов, двусмысленностей или невнятных формулировок. Есть только один грех – быть пойманным. Когда люди жалуются на высокие цены и безработицу, им говорят: «Это муки роста будущего процветания». Когда сэра Гарольда Уилсона, в бытность его на посту премьер-министра Великобритании, попросили привести свидетельства экономического прогресса при социалистах, он сказал: «Нельзя количественно измерить рвение». Пентагон склонен прибегать к выражениям вроде «предвосхищающее возмездие», что означает неспровоцированный удар. Коммунисты употребляют термин «демократия», который в их устах значит противоположное тому, что вкладывают в него

демократы. Оруэлл иронически сокрушается о нехватке системы, логики и последовательности в высказываниях политиков. В сравнении с дилетантской уклончивостью большинства министров двоемыслие обладает своего рода благородством.

Можно считать, будто ангсоц слишком уверен в собственной силе, чтобы нисходить до нечестной игры. Он не любит словесных туманностей, он настаивает на крайней ясности выражений как в письменной, так и в устной речи. Для этого он создал особую разновидность языка, называемую новоязом. Для новояза характерны грамматическая правильность, простота синтаксиса и словарный запас, лишенный ненужных синонимов и сбивающих с толку нюансов. Сильные глаголы исчезли, и окончания в глагольных формах всегда одинаковы. Сравнительные степени прилагательных всегда строятся по принципу: «правильно, правильнее, самое правильное». Во множественном числе у всех существительных одно окончание. Эта рационализация рано или поздно, вероятно, наступит сама по себе, без вмешательства государства, но ангсоц, присвоивший себе тотальный контроль над любой человеческой деятельностью, был так добр, что ускорил процесс. Ограничение словарного запаса – дар божий или государственный: слишком уж много слов в традиционном языке. «Плохой» – излишнее слово, когда у нас уже есть «нехороший», а усилительные можно создать путем прибавления «плюс» или для большего усиления «плюс плюсовый». «Плюс плюсовый нехороший» – довольно эффективный способ передать «ужасно или крайне дурной», а «плюс плюсовый несветлый» вполне отражает, что такое, в сущности, «кромешная тьма».

Но главная цель филологов ангсоца не обкорнать язык до подобающей простоты, а настолько полно приспособить его для выражения ортодоксальной доктрины государства, чтобы в речь, будь то письменная или устная, не могла бы проникнуть даже тень ереси. «Свободный» еще существует, равно как и «несвободный» или «свободность», но само понятие может быть лишь относительным, как в «свободный от боли». «Свободный» в смысле «политически свободный» в новоязе не имеет смысла, поскольку самой такой концепции больше не существует. Текст о политической свободе вроде Декларации независимости невозможно осмысленно перевести на новояз.

«Мы считаем за самоочевидные истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения

этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых. В случае если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство…»

Оруэлл говорит, что самое приближенное, как можно перевести этот пассаж на новояз, будет свести его к одному слову: «мыслепреступление». Полный перевод может быть только переводом идеологическим, при котором слова Джефферсона превратятся в панегирик абсолютному правительству. Давайте попробуем:

«Мы говорим, что истина писаная есть истина неписаная, что все люди одинаковые, что отец и мать сделали так, чтобы они жили свободными от болезней и следующими не за пищей, но за чувством, что пищу съели. Они сотворены такими своими родителями, но Старший Брат делает их таковыми. Старший Брат не может быть убит, но должен быть убит, и на его месте будет он сам…»

Чушь, как и слова о том, что солнце восходит ночью. Или, если уж на то пошло, что Старший Брат «плюс плюсовый нехороший», тогда как по определению таким быть не может.

В 1984-м мы лишь на первой стадии контроля разума посредством языка. Три главных лозунга государства: «ВОЙНА – ЭТО МИР», «СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО», «НЕЗНАНИЕ – СИЛА». Оруэлл уже сообщил нам, что слово «свобода» не может иметь ни абсолютного философского, ни политического значения, однако как раз такой смысл это слово несет в партийном лозунге. Более того, государство нетипично остроумным образом задействует парадокс: надо понимать, это последний спазм остроумия перед наступлением бесконечной ночи. Нам, и очень кстати, сообщают, что война – нормальное состояние современности, каким являлся в старые времена мир, и что посредством войны с врагом мы лучше всего учимся любить безмятежность своего порабощения. Выбор образа жизни – невыносимая ноша, агония свободы выбора – звяканье цепей порабощения собственным окружением. Чем больше мы знаем, тем больше оказываемся жертвой противоречий мышления; чем меньше мы знаем, тем лучше способны действовать. Все это верно, и мы благословляем государство за избавление от

невыносимой тирании демократии. Мужчины и женщины партии теперь вольны заниматься интеллектуальными играми.

Работа Уинстона Смита как раз и представляет собой такую интеллектуальную игру, причем весьма стимулирующую. Она заключается в выражении двоемыслия через новояз. Он должен исправлять ошибки в старых номерах «Таймс», то есть с точки зрения ангсоца множить ложь и писать новые тексты, которые зачастую превращаются в совершенно новые новостные сообщения на языке, который, сужая поле семантического выбора, способствует изобретательности. (Кстати, можно спросить, почему допускается существование отдельных экземпляров «Таймс», поскольку собирание их для уничтожения сопряжено с огромными сложностями. Почему бы «Таймс» не выходить как стенгазете?) Это так же увлекательно, как составление длинной телеграммы. И действительно, новояз узнаваемо основан на газетном волапюке. Оруэлл, вероятно, упивался перепиской между Ивлином Во и «Дейли мейл», когда это популярное издание послало его освещать конфликт в Абиссинии: «ПОЧЕМУ НЕНОВОСТИ – НЕНОВОСТИ ХОРОШИЕ НОВОСТИ – НЕНОВОСТИ НЕРАБОТА – РАБОТАЙ, УМНИК». Новояз, помоги нам Боже, – забавная штука. И опять же, помоги нам Боже, двоемыслие подразумевает изрядную умственную акробатику. Жить в 1984 году, возможно, опасно, зато не соскучишься.

Возьмем ситуацию с восемьюдесятью пятью процентами общества – с пролами. Идет война, но нет призыва, а единственные упавшие бомбы сброшены правительством – просто чтобы напомнить населению, что идет война. Если товаров потребления не хватает, то это ведь неизбежность военного времени. Зато есть пабы, где пиво продают литровыми кружками, есть кинотеатры, государственная лотерея, популярная журналистика и даже порнография (механически производимая отделом Министерства правды под названием «порносек».) Нет безработицы, денег достаточно, нет деспотичных законов, да и вообще никаких законов нет. Все население, пролы и партийцы наравне, избавлено от преступности и насилия, существующих в обществе демократической модели. Можно совершенно безопасно ходить ночью по улицам, и вас никто не тронет – за исключением, надо полагать, полицейских машин в духе Лос-Анджелеса. Незачем беспокоиться из-за инфляции. Нет такой существенной проблемы нашего времени, как расовая нетерпимость. Как говорит нам Голдстейн: «В самых верхних эшелонах можно встретить и еврея, и негра, и латиноамериканца, и чистокровного индейца». Нет глупых политиков, нет нелепой подковерной игры, никто не тратит времени на глупые политические дебаты. Правительство эффективно и стабильно. Даже придуманы меры для устранения из жизни застарелых мук, причиняемых сексом и

давлением семейных уз. Стоит ли удивляться, что система повсеместно принята. Уинстон Смит с его хитроумной одержимостью свободой говорить, мол, 2+2=4, и его убеждением, что все, кроме него, шагают не в ногу, – нарыв, гнойник, изъян на гладком теле коллектива. Что его следует излечить от безумия, а не распылить на месте как надоедливого москита, свидетельствует о милосердии государства.

В годы Второй мировой войны Оруэлл имел смелость написать, что ни Гитлера, ни его разновидность социализма нельзя списывать как воплощение зла или заразную болезнь. Он видел привлекательные элементы как в личности фюрера, так и в политической системе, которая вернула самоуважение и национальную гордость целому народу. Написать книгу, подобную «1984», мог только человек, способный оценить положительные стороны олигархии. И действительно, любой интеллектуал, разочаровавшийся в том, какие жалкие плоды принесли столетия демократии, должен относиться к Старшему Брату двоемысленно. И дай ему шанс, когда он увидит, как сотни миллионов живут – радостно, смирившись или без особых возражений – в условиях, которые Запад называет порабощением, интеллектуал вполне может переметнуться и искать умиротворения в той или иной разновидности ангсоца. И доводы против олигархического коллективизма, возможно, основаны вовсе не на невнятной традиции «свободы», а выведены из понимания противоречий внутри самой системы.

В подвалах Министерства любви О’Брайен рассказывает Уинстону про мир, который строит партия:

«Мир страха, предательства и мучений, мир топчущих и растоптанных, мир, который, совершенствуясь, будет становиться не менее, а более безжалостным; прогресс в нашем мире будет направлен к росту страданий. Прежние цивилизации утверждали, что они основаны на любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не будет иных чувств, кроме страха, гнева, торжества и самоуничижения. […] Новорожденных мы заберем у матери, как забираем яйца из-под несушки. Половое влечение вытравим. Размножение станет ежегодной формальностью, как возобновление продовольственной карточки. Оргазм мы сведем на нет. Наши неврологи уже ищут средства. […] Не будет различия между уродливым и прекрасным. Исчезнет любознательность, жизнь не будет искать себе применения. С разнообразием удовольствий мы покончим. Но всегда – запомните, Уинстон, – всегда будет опьянение властью, и чем дальше, тем сильнее, тем острее. Всегда, каждый миг, будет пронзительная

радость победы, наслаждение от того, что наступил на беспомощного врага. Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека, – вечно…»

От таких слов у Уинстона в жилах стынет кровь, да и язык прилипает к гортани: он не может ответить. Но нашим ответом может стать: человек не таков, простого удовольствия от жестокости ему недостаточно. Интеллектуалу (поскольку только лишенные реальной власти интеллектуалы способны сформулировать подобную концепцию) требуется многообразие удовольствий. Вы говорите, что опьянение властью становится все острее и утонченнее, но мне кажется, вы говорите об упрощении, и это животное упрощение, в силу логики, подразумевает спад интеллектуальной деятельности, которая одна только и способна поддерживать ангсоц. Удовольствия, по природе вещей, не могут оставаться статичны, разве вы не слышали о сокращении возвратов оптовику? Это то самое статичное удовольствие, о котором вы говорите. Вы говорите, мол, сведете на нет оргазм, но как будто забываете, что удовольствие от жестокости – удовольствие сексуальное. Если вы убьете различие между прекрасным и безобразным, у вас не будет шкалы, по которой будет оцениваться интенсивность удовольствия от жестокости. Но на все наши возражения О’Брайен ответит: «Я говорю о совершенно новом человеке и новом человечестве».

Вот именно. Это не имеет никакого отношения к человечеству, каким мы его знали несколько миллионов лет. Новый человек – это что-то из научной фантастики, своего рода марсианин. Требуется удивительный квантовый скачок, чтобы перейти от ангсоца, метафизика которого коренится во весьма старомодном представлении о реальности, а политическая философия связана с привычным тоталитарным государством, к «человеку властному», или как там еще будет называться новая сущность. Более того, этот предполагаемый мир «топчущих и растоптанных» придется совместить с неизменными процессами государственного управления. Хитросплетения государственной машины едва ли совместимы с картинами – не обязательно безумными – изысканной жестокости. Удовольствие власти в значительной степени связано с удовольствием правления, а именно с моделями и способами навязывания индивидуальной или коллективной воли управляемым. «Сапог, топчущий лицо человека, – вечно» – метафора власти, но еще и метафора внутри метафоры. Внимая красноречивым славословиям мечте ангсоца, Уинстон Смит думает, что слышит голос безумия, – голос тем более ужасающий, что от него кольцо

сжимается вокруг его собственного душевного здоровья: на такое способна только поэзия, которая на первый взгляд кажется безумием. О’Брайен поэтизирует. Мы, читатели, испытываем дрожь ужаса и возбуждения, но мы не воспринимаем стихотворение всерьез.

Мы все знаем, что ни один политик, государственный деятель или диктатор не ищет власти ради самой власти. Власть – это положение, острие, вершина, присвоение контроля, который, будучи тотальным, приносит удовольствие, которое есть награда власти – удовольствие выбирать, будут тебя бояться или любить, будешь ты причинять вред или творить добро, погонять или давать передышку, терроризировать или одарять благами. Мы распознаем власть, когда видим возможность выбора, не ограниченного внешними факторами. Когда власть проявляется исключительно через зло, мы начинаем сомневаться в существовании выбора и, следовательно, в существовании власти. Высшая власть, по определению, принадлежит богу, и эта власть показалась бы несуществующей, если бы ограничивалась сосланием грешников на муки ада. Любой Калигула или Нерон распознается как временное отклонение, которое не способно удерживать власть долго, которое не может выбирать, а может только разрушать. Злые мечты маркиза де Сада порождены неспособностью достигнуть оргазма обычными способами, и мы соглашаемся, что у него нет иного выбора, кроме как прибегнуть к хлысту или обжигающей яичнице. Он представляется более логичным, чем освобожденный от потребности в оргазме садизм О’Брайена. О’Брайен говорит не о власти, а о плохо изученном заболевании. В силу своей природы заболевание либо убивает больного, либо излечивается. А если этот феномен не болезнь, а новая разновидность здоровья для новой разновидности человечества – пусть так. Но мы принадлежим к старой разновидности человечества, и новая нас не слишком интересует. Убейте нас, бога ради, но давайте не будем делать вид, что нас уничтожает реальность высшего порядка. Нас просто рвет на части тигр или распыляет марсианский луч смерти.

Реальность – внутри коллективной черепушки партии: внешний мир можно игнорировать или формировать согласно ее воле. А что, если подведет электричество, питающее машину пыток, что тогда? Ах так, значит, электричество все-таки каким-то таинственным образом вырабатывается? Что, если закончатся запасы нефти? Способен ли разум утверждать, что они еще достаточны? Науки не существует, поскольку эмпирический метод мышления объявлен вне закона. Технологический прогресс направлен на изготовление оружия или устранение личной свободы. Неврологи ищут средства от оргазма, и следует предположить, что психологи изыскивают все новые способы убить

удовольствие и усилить боль. Никакой превентивной медицины, никакого прогресса в лечении болезней, никакой пересадки органов, никаких новых лекарств. Взлетная полоса I беззащитна перед любой неизвестной эпидемией. Разумеется, болезнь и смерть отдельных граждан не имеют большого значения, пока процветает коллектив. «Индивид – всего лишь клетка, – сказал О’Брайен. – Усталость клетки – энергия организма. Вы умираете, когда стрижете ногти?» Однако этот хваленый контроль над внешним миром неминуемо покажется ограниченным, когда неизлечимое заболевание попросит разум выйти вон, дескать, он пережил готовность тела цепляться за жизнь. Разумеется, логично предположить, что тела могут вообще исчезнуть, и Старший Брат окажется в роли Церкви победившей, то есть души или статика душ навечно переместятся в эмпиреи, где не будет плоти, чтобы ее хлестать, и нервов, чтобы заставить орать от боли.

Природа, если ее игнорировать или дурно с ней обращаться, имеет обыкновение проявлять свое недовольство, как некогда напоминала нам реклама маргарина. Загрязнения окружающей среды, как утверждает партия, не существует. Природа отчетливо не согласна. От землетрясений при помощи двоемыслия не отмахнешься. Коллективный солипсизм воплощает гордыню, которую боги естественного порядка вещей быстро накажут неурожаями и эндемическим сифилисом. Оруэлл писал в эпоху, когда атомной бомбы боялись больше, чем разрушения окружающей среды, а потому ангсоц берет свое начало в более ранний, уэллсовский период, когда природа была инертной и податливой, и человек мог делать с ней, что вздумается.

Даже процессы лингвистических изменений – аспект природы, они происходят бессознательно и, как представляется, автономно. Нет гарантии, что созданный государством новояз сможет процветать, не подвергаясь воздействию постепенного семантического искажения, мутации гласных или влиянию более богатого старояза пролов. Если выражение «плюс плюсовый нехороший» или (с макбетовским привкусом) «плюс плюсплюсовый нехороший» применить к плохо сваренному яйцу, потребуется кое-что покрепче для обозначения головной боли. Например, «небольшебратный неангсоцный плюс плюсплюсплюсовый нехороший». «Старшебратный» – в качестве усилительного – может быть столь же нейтральным, как «чертовский». Старшего Брата как единственное божество можно поминать, когда ударишь молотком по пальцу или попадешь под дождь. А это неминуемо его умалит. Уничижительные семантические изменения – обязательная составляющая истории любого языка. Но мы имеем дело с новой разновидностью человека и новой разновидностью реальности. Не следует строить домыслы о том, что не может происходить здесь и сейчас.

«1984» следует воспринимать не только как безделицу в духе Свифта, но и как расширенную метафору предчувствия. Как проекция возможного будущего оруэлловская картина имеет исключительно фрагментарную ценность. Ангсоц не может возникнуть, это нереализуемый идеал тоталитаризма, который неполноценные человеческие системы всего лишь неуклюже имитируют. Это метафорическая власть, которая существует вечно, а роман Оруэлла все еще остается апокалиптическим сводом наших худших страхов. Но откуда у нас эти страхи? Мы так чертовски пессимистичны, что нам почти хочется возникновения ангсоца. Нас пугает государство… всегда государство. Почему?

Какотопия (Страна зла)

«Где бы ты ни был, ты всегда должен работать. Никогда нет оправдания праздности. Нет ни таверн, ни публичных заведений, ни домов терпимости. Нет шансов соблазна, нет мест для тайных встреч. Ты у всех на виду. Ты не только должен работать и работать, ты должен правильно использовать свободное время». Это приблизительный перевод из «Утопии» сэра Томаса Мора. В латинском оригинале выглядит не так скверно. А на расхожем английском приобретает привкус ангсоца. Сам термин «утопия», придуманный Мором, всегда наводил на мысль о привольности и комфорте, стране лотоса, но означает он лишь вымышленное общество, будь то хорошее или дурное. Греческие элементы, составляющие это слово, – «ou», что значит «не» или «нет», и «topos», что значит «место». В сознании многих «ou» подменяется «eu», что означает «хороший, добрый, приятный, выгодный». Утопии противопоставляли дистопию, но оба термина подпадают под утопическую шапку. Я предпочитаю называть воображаемое общество Оруэлла какотопией – в духе какофонии или какодемона. Звучит хуже, чем дистопия, и незачем говорить, что ни одного из этих терминов не найдешь в новоязе.

Большинство картин будущего какотопичны. Джордж Оруэлл был страстным приверженцем какотопических домыслов, и его «1984» можно считать финалистом конкурса «Худший из воображаемых миров». Его роман идет с большим отрывом, а второй в списке худших ночных кошмаров выглядит несколько выдохшимся, но без этой книги Оруэлл вообще, возможно, не захотел бы соревноваться.

Речь идет о книге «Мы» Е.И. Замятина. Оруэлл написал на нее рецензию, опубликованную в «Трибьюн» 4 января 1946 года, наконец, заполучив книгу в руки через несколько лет после того, как услышал о ее существовании. Эта книга всегда была малодоступной и тем, что сегодня ее можно прочесть на большинстве языков, обязана своему влиянию на Оруэлла. По всей очевидности, в русском оригинале ее не найти. Русский романист и литературный критик Евгений Замятин умер в 1937 году в Париже. Арестованный в 1906 году царским правительством, он в 1922-м был помещен в ту же камеру того же коридора той же тюрьмы большевиками. Он не любил большинство правительств и склонялся к своего рода примитивному анархизму. Название книги как будто отсылает к лозунгу отца анархизма Бакунина: «Я не хочу быть я, я хочу быть мы». Это как будто означает, что антитезой могущественному централизованному государству является не индивид, а свободная анархистская коммуна.

Роман «Мы» был написан около 1923 года[8 - Точное время написания романа неизвестно, впервые опубликован в 1924 г., написан, вероятно, в 1920-м.]. Роман не про Россию, более того, он не рисует – даже иносказательно – какую-либо существующую политическую систему, но ему отказали в публикации на том основании, что он идеологически опасен. Нетрудно понять почему – невзирая на бурный полет фантазии и отдаленность времени действия. Роман переносит нас в двадцать шестой век, и местом действия является некая утопия, граждане которой настолько утратили индивидуальность, что известны исключительно как «нумера». Они носят униформу и называются не человеческими существами, а «юнифами». Поскольку оруэлловский телеэкран еще не изобретен, они живут в стеклянных домах, чтобы государственной полиции, известной как «хранители», легче было за ними наблюдать. Они едят синтетическую пищу, а для отдыха и развлечения маршируют под государственный гимн, ревущий из громкоговорителей. Есть пайковая книга секса с розовыми карточками, и партнер по акту подписывает квитанцию. Единым государством управляет личность настолько же далекая и смутная, как Старший Брат: она известна как Благодетель. К власти Благодетель приходит в результате голосования, но у него нет оппонентов.

Философия единого государства проста. Невозможно быть счастливым и свободным одновременно. Свобода навязывает муки выбора, и Бог в своем бесконечном милосердии постарался устранить эти муки, заключив Адама и Еву в прекрасном саду, где они имели все необходимое. Но они съели запретный плод выбора, были изгнаны из сада, и за свободу воли им пришлось заплатить несчастливостью. Долг всех хороших государств – вернуть Рай и выжечь змея свободы.

Герой-рассказчик – Д-503, инженер, который старается быть хорошим гражданином, но, к ужасу своему, обнаруживает, что в нем прорываются атавистические импульсы. Он влюбляется, что воспрещено. Хуже того, он влюбляется в женщину I-330, которая возглавляет подпольное движение сопротивления, предающееся таким порокам, как табак, алкоголь и использование воображения, последнее объявлено государством болезнью. Д-503, не являющемуся истинным революционером, дают шанс избавиться от воображения посредством рентгеновского облучения. Излечившись, он выдает заговорщиков полиции и безразлично наблюдает, как пытают I-330. В конечном итоге все диссиденты казнены – при помощи Машины Благодетеля, которая превращает их в облачко дыма и лужицу воды, их в буквальном смысле ликвидируют – от латинского «liquid», что значит «жидкость». Оруэлл замечает:

«Казнь, по сути, человеческое жертвоприношение, и сцене, в которой она описывается, намеренно приданы черты жуткой рабовладельческой цивилизации древнего мира. Налицо интуитивное понимание иррациональной стороны тоталитаризма: человеческие жертвоприношения, жестокость ради жестокости, преклонение перед вождем, которому приписываются божественные атрибуты, – все это ставит книгу Замятина выше романа Хаксли».

Речь идет, разумеется, о романе «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, написанном, как и «1984», под влиянием «Мы». Оруэлл отвергал «Дивный новый мир» как возможный чертеж даже отдаленного будущего, обвиняя Хаксли в недостатке «политической сознательности». Следует помнить, что Хаксли описывает утопию, где, как и у Замятина, свобода принесена в жертву счастью. Возможно, памятуя о суровой критике преподобного доктора Джонсона, осуждавшего свободное употребление этого термина, которым обозначают как радости небесные, так и упоение маленькой девочки новым платьем, лучше подошло бы выражение «довольство». Пренатальные биологические методы и формирование инстинктов по Павлову позволяют гражданам будущего испытывать удовлетворение участью, дарованной им государством. Равенства не существует. В обществе существует пять жестких каст, начиная от альфа-плюс, то есть интеллектуалов, до эпсилонов-минус, то есть почти слабоумных, а невозможность движения между кастами биологически встроена в систему. Семья, которая, по выражению Зигмунда Фрейда, более всего другого повинная в неудовлетворенности человека, уничтожена; дети выращиваются в пробирках,

любой секс беспорядочен и стерилен. Это тотально стабильное общество, в котором доминантной философией является гедонизм. Но Оруэлл считает, что подобное общество недостаточно динамично, чтобы протянуть сколько-нибудь долго. «Нет ни жажды власти, ни садизма, ни каких-либо тягот. У тех, кто наверху, нет веского мотива оставаться у руля, и хотя все бессодержательно счастливы, жизнь стала настолько бессмысленной, что трудно поверить, как такое общество вообще способно существовать».

Иными словами, погоня за счастьем бессмысленна. А свобода? Надо полагать, борьба за нее имеет смысл. Оруэлл не может представить себе общество, чьи правители не руководствуются желанием навязать свою стопроцентно злонамеренную волю управляемым. Это и есть его «политическая сознательность». Динамика общества заключается в сопротивлении управляемых воле правителя, правителя такое сопротивление устраивает, поскольку рассматривается как враждебное побуждение, требующее подавления и всех вытекающих из него садистских удовольствий. Когда Оруэлл утверждает, что общество как раз таково, на его стороне история. Почему одни стремятся править другими? Не ради блага этих других. Держаться такого убеждения – значит проявлять «политическую сознательность».

Однако существовали утописты, например Г. Уэллс, которые верили, что возможно построить справедливое общество. «1984» – издевка над уэллсовским будущим, над невинной картиной мира эллинистической (и муссолиниевской) архитектуры, рациональной одежды и сберегающих работу устройств, над миром, где правит разум, а такие низкие инстинкты, как жажда власти и проявления жестокости, сурово подавляются. Будь Оруэлл взаправду англиканским священником, он бы знал, каким термином это определить. Он назвал бы социалистическое общество, в котором победил научный социализм, «пелагианским».

Термины «пелагианский» и «августинианский» хотя и относятся к теологии, полезны для обозначения двух полюсов в представлении человека о собственной природе. Британский монах Пелагий, или Морган (оба имени означают «человек моря»), стоял у истоков ереси, осужденной церковью в 416 году н. э., которая, однако, никогда не переставала оказывать влияние на нравственную философию Запада. Выдвигаемая им концепция человека большинству кажется чудовищно неубедительной, хотя она и является частью традиционной христианской доктрины. Согласно традиционной доктрине, человек приходит в мир, отягощенный первородным грехом, который он бессилен превозмочь

исключительно своими силами, и ему требуется искупление Христа и Божья милость. Первородный грех предполагает некую человеческую предрасположенность ко злу, к преступлению неповиновения, совершенному Адамом в Райском саду. Как напоминает нам Замятин, Адам не желал быть счастливым, он желал быть «свободным». Он желал себе свободы воли, то есть права выбирать между тем или иным поступком – по сути, речь идет о выборе между поступками, относительно которых может быть вынесено нравственное суждение. Он не осознавал, что, обретя свободу, с большей долей вероятности выберет ложное, нежели верное. Он будет заботиться об удовлетворении собственного эго, а не о том, что угодно Господу. Тем самым он навлек на себя Божью кару, отменить которую способна лишь Божья милость.

Пелагий отрицал эту ужасную предопределенность. Согласно его концепции, человек способен выбрать спасение в той же мере, что и проклятие: он не предрасположен к греху, первородного греха вообще не существовало. Впрочем, человек не обязательно предрасположен и к добру, факт полной свободы выбора сделал его нейтральным. Он способен – без препятствий в виде изначально грешной своей природы – вести жизнь праведную и собственным усилием заслужить себе спасение. Приводя новые аргументы в защиту ортодоксальной доктрины первородного греха и необходимости молиться о Божьей милости, святой Августин, епископ Гиппонский, громогласно осудил Пелагия. Но и за более чем пятнадцать столетий не смог заставить его замолчать.

Лишив эту точку зрения на человека религиозной составляющей, мы обычно забываем про грех и сосредотачиваемся на том, что хорошо и что плохо для общества. Уэллсовская разновидность пелагианства винила в преступных импульсах среду. То, что священники называли «первородным грехом», есть реакция на бедность, трущобы, вынужденные невежество и нищету. Научный социализм с корнем вырвет то, что зовется преступностью. Человек не просто нравственно нейтрален: будучи общественным животным, он хочет быть «хорошим» или ответственным членом общества; мешает ему лишь среда. Но если существуют миряне-пелагианцы (хоть их и меньше, чем было до приблизительно 1933 года), мирян-августинианцев как будто нет и в помине. Те, кто отрицает возможность нравственного прогресса, кто утверждает, что деструктивные, похотливые устремления в человеке есть греховный аспект его природы, в силу необходимости стоят на позициях традиционной теологии. Если возможно сделать что-то для улучшения человека, оно должно исходить извне – от Бога, или Жизненной Силы, или чудесного внеземного вируса, принесенного нам НЛО.

Однако полярность этих мировоззрений далеко не такая уж застывшая. Все мы – пелагианцы и августиниацы разом, будь то в разные циклические фазы или – посредством своего рода двоемыслия – в одно и то же время. Оруэлл был пелагианцем в том, что был социалистом, и августинианцем, когда создал ангсоц. Иногда кажется, что политическая жизнь в свободном обществе проистекает согласно следующему циклу: в результате пелагианской веры в прогресс к власти приходит тот или иной либеральный режим, который дает слабину, когда люди начинают восприниматься как неспособные к самосовершенствованию и не дотягивают до либерального идеала; либеральный режим рушится, и на смену ему приходит режим авторитарный, в котором людей насильно делают хорошими; затем люди начинают казаться не такими дурными, как учит августинианская философия; снова открывается дорога к возвращению либерализма. Мы склоняемся к августинианству, когда испытываем отвращение к собственному эгоизму, и к пелагианству, когда нам кажется, что мы вели себя хорошо. Свобода воли существенно необходима для пелагианства; детерминизм (из-за первородного греха мы не вполне в ответе за собственные поступки) – для августинианства. Никто из нас не знает наверняка, насколько мы свободны на самом деле.

Обращаясь к двум противоположным, но взаимопроникающим теологическим доктринам, мы обнаруживаем, что заигрываем с такими понятиями, как «добро» и «зло». Оторванные от своего основания, они, как правило, становятся семантически размытыми, не утрачивая при этом свою эмоциональную окраску. Становится неловко, когда слышишь слова «добро» и «зло» из уст политика, и чуть менее – хотя все равно тревожно, – когда он жонглирует выражениями «правильно» и «неправильно». Строго говоря, нравственная двойственность, представленная этими словами, вполне укладывается в сферу деятельности государства, тогда как добро и зло относятся к теологическим константам. Что правильно, а что неправильно? То, что говорит государство. Правильно ненавидеть Остазию, но в следующее же мгновение неправильно ее ненавидеть. Правильно есть картошку в период изобилия и неправильно – в период нехватки продовольствия. Консерваторы неправы, а мы, социалисты, правы – вопрос лишь в подходе. Законы государства вечно меняются, а с ними ценность правильного и неправильного. Необходимость противопоставить неизменные ценности переменчивым суждениям государства вызывает у нас готовность говорить, что принятие одного закона есть добро, пусть даже это неправильно, а принятие другого – зло, хотя сам по себе закон правильный.

Всегда проще приводить примеры зла, чем добра. Августинианец может сказать: это неизбежно, поскольку зло в нашей природе, а добро нет. И вообще «добро» слово с широким спектром значений, мы легко спутаем нравственное добро с тем, что за отсутствием лучшего термина должны называть эстетическим добром. Одна из величайших человеческих загадок якобы заключалась в нацистских лагерях смерти. Некий комендант, надзиравший за уничтожением тысяч евреев, шел домой слушать, как его дочь играет сонаты Шуберта, и плакал от чистейшей радости. Как такое возможно? Как могло существо, столь приверженное злу, без труда переходить в мир божественного добра? Ответ заключается в том, что «добро» музыки не имеет никакого отношения к этике. Искусство не возносит нас к доброте и праведности. Оно нравственно нейтрально, как вкус яблока. Вместо того чтобы распознать словесную путаницу, мы размышляем над аномалией или, подобно Джорджу Стейнеру, заявляем, что любовь к искусству делает людей менее восприимчивыми к нравственным императивам. «Люди, плакавшие над Вертером или Шопеном, сами того не подозревая, шли через буквальный ад». Никакой загадки тут нет.

Что мы имеем в виду, говоря «Бог есть добро»? Надо полагать, что Бог добр и лично трудится над своим творением, чтобы обеспечить его счастье. Но такое трудно вообразить и еще труднее в такое поверить. Гораздо проще считать Божье «добро» в чем-то аналогичным «добротности» стейка на гриле или симфонии Моцарта – оба приносят бесконечное и острое удовольствие, более того, они самодостаточны, учитывая, что симфония слышит саму себя, а поедаемое есть также и поедаемый. «Доброта» искусства – лучшая метафора божественной доброты.

«Добро» музыкального произведения и «добро» благородного поступка имеют одну общую черту – незаинтересованность. Так называемый добрый или хороший гражданин лишь подчиняется законам, принимая на веру, что государство приказывает ему считать правильным или неправильным. Добро не имеет отношения к гражданственности. Оно творится не в силу повиновения закону, не для того, чтобы добиться похвалы или избежать наказания. Добрый поступок – поступок альтруистичный. О нем не трубят, и он не ищет себе награды. Вероятно, можно углядеть вымышленную связь между добром Девятой симфонии Бетховена (написанной в глухоте, болезни, нищете и бедности) и добротой святого, который отдает свой плащ нагому, обнимает прокаженного, умирает, чтобы спасти других. Но добро Бетховена вне сферы поступков, в которой осуществляет свое добро святой. Искусство – видение рая, дарованное безвозмездно. Будучи квазибожественным, оно вне человеческих забот и интересов. В отличие от Рая христианской доктрины оно доступно в равной мере

нравственно злым и нравственно добрым, оно – своего рода эквивалент Божьей милости святого Августина, даруемой беспристрастно. И в глазах узколобого моралиста это делает его подозрительным.

Что же тогда добрый поступок? Одеть нагого, ухаживать за недужным, кормить голодного, учить невежественного. Эти отдельные поступки можно обобщить как стремление содействовать или вернуть живому организму присущую ему способность свободно функционировать в рамках его естественной среды. Эти поступки всегда добры, но не всегда правильны. «Незнание – сила» – провозглашает ангсоц. Нацисты говорили: пусть евреи мерзнут, голодают и мрут. Добрый поступок не признает расовых или иных различий между теми, кому он пойдет во благо. Добро – излечить сломанное крыло птицы или спасти жизнь гауляйтеру. Добро святого характеризуется его полной незаинтересованностью; добро людей, не столь возвышенных, может иметь мотивы смешанные, недопонятые, неосознанные; но добрый поступок имеет обыкновение выходить из-под контроля и не иметь отношения к целесообразности, политике или закону. Добрые намерения, как нам хорошо известно, могут иметь дурные последствия. Попав в катастрофу на железной дороге, Чарлз Диккенс вливал бренди без разбору в глотки раненых, тем самым прикончив несколько человек. Однако он не был убийцей. Но способность совершить поистине добрый поступок связана с высокой степенью интеллекта и большими знаниями. Прогресс можно считать постепенным преумножением способности человека понимать побуждения и отличать свободные добрые намерения от зла невежества.

В чистейшей своей форме зло, как и добро, имеет тот же атрибут незаинтересованности. Если добро содействует свободному проявлению сил и возможностей человеческого организма, то зло – неизбежно – должно стремиться к ограничению этой свободы. Если мы пелагианцы, то принимаем, что человек наделен полной свободой нравственного выбора. Устранить этот выбор – значит обесчеловечить. Зло наиболее ясно проявляет себя, когда упивается превращением живой души в манипулируемый объект. Обречь на смерть – достаточное зло, но пытка всегда считалась много худшим. Государство в значительной мере заинтересовано в обесчеловечивании. Оно имеет тенденцию присваивать себе власть в вопросах нравственного выбора и не стремится гарантировать, чтобы индивид принял решение сам. Существенно необходимо, чтобы стоящие у власти ясно понимали разницу между волей правителя и волей управляемых. В идеале воля правителя должна быть абсолютно свободной; воля управляемых – более или менее свободной, согласно большей или меньшей авторитарности режима. Государство – инструмент,

посредством которого правитель осуществляет власть над управляемыми. Исходя из того, что при отправлении своей функции этот инструмент должен встречать как можно меньше сопротивления, можно сказать, что воплощенное в государстве зло никогда не может быть абсолютно незаинтересованным. Но в какотопии Оруэлла возникает властный режим, настолько уверенный в себе, что может себе позволить черпать главную свою радость в свершении зла ради самого зла, – иными словами, медленно, преднамеренно, систематически превращать мужчин и женщин в заговаривающихся и вопящих под пытками недочеловеков. Это высшая какотопия, к которой склонялись нацистская Германия, Советская Россия и целая орда мелких автократий, но которой они никогда не могли достичь.

Для агностика до мозга костей Оруэлла, вероятно, типично, что зло в чистом виде он мог увидеть только в государстве. Зло – не для индивида, первородный грех – доктрина, подлежащая осмеянию. Социализм Оруэлла позволял, даже настаивал на том, что человек способен на нравственное и экономическое совершенствование. Его августинианский пессимизм был применим только к порождению человека, известному как олигархическое государство. Государство – дьявол, но бога не существует. Убеждение, что зло каким-то образом существует вне индивида, до сих пор бытует на Западе, отбросившем все, кроме лохмотьев своих традиционных религий. Зло принимается, видится в резне во вьетнамской деревне Милай, в убийствах Чарлза Мэнсона, в ежедневных убийствах и изнасилованиях, оживляющих улицы крупных американских городов. Но так удобно верить, что зло, вопреки учению Августина, не неотъемлемая часть человеческой природы, а «происходит извне, как болезнь». Дьявол и прислуживающие ему демоны обладают монополией на зло, они стремятся овладеть человеческими душами и поселить в них зло во всех его проявлениях – от богохульства до каннибализма. Возможно, демонов можно изгнать. Но зло не множится в самом человеке. Люди верующие сравнительно счастливее переносят свой грех, если могут приписать его Отцу лжи. По Оруэллу, вина целиком и полностью лежит на Старшем Брате.

Оруэлл как будто полагал, что реальный мир (в отличие от мира его воспаленного и неподдельно больного воображения) движется в сторону еще больших и худших какотопий. Государства станут все крупнее и могущественнее. Обладая самыми дьявольскими методами подавления, они все больше станут превращать индивида в заговаривающегося гуманоида. Будущее представлялось Оруэллу неравным состязанием между человеком и государством, и поражение человека в нем будет унизительным и абсолютным. Теперь мы должны разобраться, свершается ли его пророчество.

Государство и сверхгосударство: дискуссия

Как выглядит расстановка сил в современном мире в сравнении с вымыслом Оруэлла?

Совершенно иной. Сверхдержавы появились, но оказалось, что им не так просто осуществлять контроль над меньшими государствами. Малые государства не были поглощены крупными. Послевоенная эпоха была отмечена духом регресса, отделением бесчисленных бывших колоний, возникновением своры независимых диктатур, олигархий и истинных демократий. Верно, сейчас много говорят о сферах влияния, взаимопроникающих системах и так далее, но не существует огромных централизованных блоков оруэлловской модели, которые имели бы сходную идеологию. И где источник власти? Истинная власть, ворочающая шестерни государственных механизмов, кроется в исламской нефти. Для Оруэлла Ближний Восток должен был стать лишь частью трапециевидной зоны дешевой рабочей силы, за овладение которой будут спорить сверхдержавы. Ислам – вот истинная сверхдержава с мощной религиозной идеологией, чей железный кулак громил христианство в Темные века и все еще может навязать себя Западу, лишенному – спасибо Второму Ватиканскому собору – твердой и воинствующей веры.

Господи ты Боже! Но вы должны признать, что в основных чертах пророчество Оруэлла сбылось. Америка, Россия и Китай вполне могут сойти за три кошмарных сверхгосударства, вооруженных до зубов и готовых напасть друг на друга.

Но ведь они не нападают. Не было никаких откровенных столкновений. Да, словесные баталии, но никаких ядерных атак на Нью-Йорк, Москву или Пекин.

Никакой вечной войны?

Верно, в среднем две небольших войны в год. Индия воюет с Пакистаном, Израиль – с Египтом, Иордан – с Сирией. Перестрелки в Палестине, в Кении, в Индо-Китае, в Алжире, Анголе, Мозамбике, в Тибете, Нигерии, Греции, Голландской Новой Гвинее, в Конго, на Кипре, Яве, на Гоа. Но никакого

столкновения сверхдержав – только через посредников. Корея и Вьетнам. Так называемые русские военные советники на Голанских высотах в 1967-м. И русские, и китайцы натаскивают гверилья для Народного Освободительного Фронта в Йемене. И русские войска были непосредственно и открыто задействованы, чтобы подавить восстание в Восточной Германии в 1953 году, поставить на место венгров в 1956-м и чехов – в 1968-м.

Но есть же зачаток оруэлловской Евразии – советизированная Европа.

И какая же часть Европы в нее вошла? Западная Европа пресытилась авторитаризмом не только после Гитлера, но и после многих лет пруссачества и Габсбургов. Россия могла бы построить Евразию только силой. Но Россия боится чрезмерного применения силы, и Америка тоже. Великий парадокс периода с 1945 года заключается в рискованной готовности малых стран вести локальные войны и нежелании великих держав противостоять друг другу открыто.

А на мой взгляд, прямые столкновения очень даже имели место, взять хотя бы корейский инцидент 1953 года или историю с ракетами на Кубе в 1962-м.

Но выдвинутое Оруэллом предположение (и он тут был не одинок), что за ядерной войной последует соглашение вести постоянную, но ограниченную войну обычными вооружениями, как будто осталось далеко в прошлом. Мы все некогда боялись ядерной бомбы: она была нашим повседневным кошмаром. Вспомните, какой была литература конца сороковых – начала пятидесятых. Взять хотя бы «Обезьяну и сущность» Олдоса Хаксли, где Южная Калифорния после ядерной войны возвращается к варварству, мутировавших уродцев убивают при рождении, секс по сезону, где Повелителя Мух, Подателя Бомбы ублажают молитвами и жертвоприношениями. Взять «Справедливость налицо» Л.П. Хартли, где мир после ядерной войны одержим чувством вины, младенцев называют в честь убийц, и любые человеческие старания изменить мир блокируются, поскольку все, что бы мы ни делали, есть зло. Взять «Доктора Стрейнджлав» – это уже начало шестидесятых. Взять романы вроде «Отказоустойчивость». Оруэлл не смог понять, что ужасы и террор начнутся задолго до ядерной войны. Впрочем, ту же ошибку совершили все остальные.

Он также не смог предвидеть, что за простыми атомными бомбами вскоре последуют термоядерные устройства с много более страшным потенциалом. Полагаю, можно так подытожить ядерную эпоху: великие державы боятся действовать прямо, разве только от имени других или совершая локальные

карательные операции в собственных сферах влияния; малые страны воюют у ног неподвижных гигантов. Гиганты сознают, с какой легкостью может быть произведен смертельный запуск, равно как и отдают себе отчет в последствиях: речь идет не о миллионах погибших, а о тысячах тонн испорченного электронного оборудования с обеих или со всех сторон, пигмеи же невинны в своей воинственности.

Не столько невинны, сколько проницательно понимают, как далеко они могут зайти. И как далеко позволит им зайти их экономика. Кстати, интересно отметить, что оруэлловские экономические предпосылки войны в эпоху ядерной бомбы не сработали. Я говорю про растрату продукции промышленного производства на военные цели, чтобы поддерживать низкий уровень жизни. Сама идея берет свое начало в нацистской Германии: пушки вместо масла. Американская экономика была отмечена колоссальными расходами на вооружение, которым сопутствовало все возрастающее потребление продуктов и услуг мирного времени. Словно бы межконтинентальная ракета и цветной телевизор находятся в одной и той же области экономической экспансии. В современную эпоху нельзя разделить два вида технологического прогресса – тот, что несет смерть, и тот, что якобы улучшает жизнь. И действительно, отчасти эту эпоху можно охарактеризовать в терминах синтеза этих двух: уютный вечер у телевизора с войной во Вьетнаме в качестве хроматического развлечения. Американские военные эскапады идут рука об руку с радостями потребительства. Ничего оруэлловского тут нет.

Но есть что-то оруэлловское в американском империализме – построение своего рода Океании, со своим ангсоцем и центрами власти, пусть скрытыми, рассеянными и анонимными. ЦРУ как своего рода полиция мысли. Двоемыслие демократии, когда свобода самоопределения, слова и самовыражения примиряется с жестокостью и запугиванием. Свободная франкофонская Канада? Немыслимо, пристрелите диссидентов. Слишком много американских инвестиций вложено в северную соседку. Коммунистическое правительство в Италии? Даже думать не смейте. Я, безобидный аполитичный английский писатель, живущий в Риме, прекрасно знал, что ЦРУ прослушивает мой телефон, делает свою работу во имя глобальной свободы, выездная полиция мысли.

Будем благоразумны. В традициях Соединенных Штатов нет ничего, что предрасположило бы эту страну к авторитаризму европейской модели. Истерический антикоммунизм пятидесятых годов можно рассматривать как симптом, пусть неприятный и опасный, врожденной ненависти к

централизованной власти. Не станете же вы отрицать, что Америка во многом способствовала демократическому самоопределению в Западной Европе. Трумэн, Эйчесон, план Маршалла. Да, нам никуда не деться от надменной уверенности Америки в собственном всеведении, в том, что Бог наделил ее нравственным превосходством, которое стало наградой за традиции просвещенной демократии, но это совсем не то, что коллективистская тирания.

Но одно безусловно верно, а именно что авторитаризм не является монополией крупных держав. В Африке полно мелких мерзких диктатур. Территории, которые якобы стонали под колониальным ярмом, едва обрели свободу, как установили диктатуру. Поезжайте в Сингапур, где мистер Ли взирает с чистейших безмалярийных небес свободной торговли. Его политические оппоненты в тюрьмах или за границей на курсах так называемого самообразования. Полиция тащит длинноволосых юнцов в обязательные кресла парикмахеров. В средствах массовой информации – пустая беспроблемность, которая ассоциируется с Испанией времен генерала Франко: светские свадьбы, смазливые младенцы, котята в ленточках. Кинематографическая непорочность зовется порнографией. Я прожил на Мальте несколько лет в атмосфере подцензурных книг и запрещенных фильмов, когда реклама нижнего белья торжественно вырезалась из привозных английских газет, дабы не возбуждать мальтийскую молодежь. Мальтийское правительство конфисковало мой дом, все еще полный, кстати, возможно, подрывных газет и книг. Множество репрессивных правительств существует повсюду, их тиранию подпитывает лицемерие, дескать, они делают то, что «лучше для блага народа». На фоне мелких диктаторов-лжецов откровенное признание О’Брайена, что ангсоц ищет власти ради самой власти, кажется даже приемлемым и здравым.

Давайте на минутку вернемся к крупным, старым, настоящим демократиям. Нам следовало бы поискать тут признаки посягательства на личную свободу. Нет сомнения, что и в старых демократиях существуют репрессивные технологии, да такие, что подсматривающая полиция мысли Оруэлла на их фоне покажется очень примитивной. Так вот меня беспокоит трудность в оценке этих технологий. Не хотелось бы дойти до осуждения технологии как таковой. Возьмем компьютеры. Норберт Винер и Уоррен Маккаллох разрабатывали основы кибернетики в рамках математического и философского исследования работы мозга, – чтобы посмотреть, насколько машина способна симулировать человеческий разум, а тогда то, что останется, и будет, по сути, человеком. Но идеям кибернетики неизбежно нашлось практическое применение, а все мы знаем, как обычно истолковывают «практичность» – с точки зрения контроля над тем, что можно контролировать, а это по большей части означает людей.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Здесь и далее цитаты из «1984» Джорджа Оруэлла даны в переводе В. Голышева.

2

Нелогичное заключение, не следующее из посылок (лат.). – Здесь и далее примеч. пер.

3

Персонаж комиксов и мультфильмов, впервые появившийся в 1958 г.

4

Положение вещей (фр.).

5

Наших дней (фр.).

6

У. Шекспир. Укрощение строптивой. Перевод П. Гнедича.

7

Настоящее имя писателя.

8

Точное время написания романа неизвестно, впервые опубликован в 1924 г., написан, вероятно, в 1920-м.

---

Купить: https://tellnovel.com/entoni-byordzhess/1985-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити